Борис Глубоковский

49

Книга имеет:

печатных листов	Выпуск	В переплетн. един. соедин. №№ вып.	Таблиц	Карт	Иллюстр.	Служебн №	Наклад и выпуска
7						12	357

—45

БОРИС ГЛУБОКОВСКИЙ.

49

МАТЕРИАЛЫ
и
ВПЕЧАТЛЕНИЯ.

О. Соловки
Бюро Печати УСЛОН
1926



Обложка-автолитография х. Качалина.
Типо-литография УСЛОН
о. Соловки, на Белом море.
Тираж 500 экз.
Карлит
№ 2934.

„49“

Сухие и строгие цифры заглавия врял ли что-нибудь расскажут читателю о содержании этой главы, а между тем 49—многозначительная цифра.

Раскройте уголовный кодекс и прочтите статью 49. В этой статье говорится о социально-вредных элементах.

Вот с этими «социально-вредными элементами» и приходится иметь дело Управлению Соловецких Лагерей.

Воры-рецидивисты, проститутки, завсегдатаи Хитровки, притонодержатели, «коты»-тунеядцы — такова большая часть обитателей Соловецких островов.

На всех печать—49.

Все приехали из огромных городов, у всех испитые лица, испитая психика, испитая мораль—все забубенные головушки.

Поезд привозит их из Москвы, Ленинграда, Ростова, Киева, Харькова, привозит в бесплодную Кемь, суровую, обдуваемую морскими ветрами, со строгим диким лесом, пестрым мохом, белыми ночами, огромными каменьями — в Кемский пересыльный пункт — деревянные бараки, за колючей изгородью проволоки.

Там «сорокодевятники», как и прочие ссыльные, вкушают дисциплину трудовых лагерей, а потом пароходом «Глеб Бокий» во чреве огромной баржи их везут в Соловки,

Прожитую жизнь не уложишь в саквояже, ее не оставишь в больших городах, а везешь сюда же, на Соловки.

И сколько бурных, порочных жизней выбрасывает на зеленокудрый Соловецкий остров вместительная баржа «Глеба Бокия»...

Путь исправления через труд

Эти слова читают взоры, привыкшие читать этикетки кондитерских изделий и Моссельпромовских пивных.

И эти слова—не пустой лозунг. Нет. В Соловках эти слова воплощаются в жизнь твердо, неуклонно и непременно.

Воспитательное значение труда не требует пояснительных аргументаций. Но перед администрацией лагерей стоят еще более сложные задачи. Мы говорим о воспитательно-просветительной работе среди заключенных.

Чтобы найти общий язык, вовлечь в эту работу действительно широкие массы Соловецкого населения, необходимо нужно изучить внимательно жизнь заключенных, нужно ланцетом анализа вскрыть в них гнойник пережитого, нужно понять их настроение и учесть их желания.

Тут мало, совсем недостаточно дисциплины, тут нужна рука педагога. И Управление Соловецких Лагерей вооружается запасом наблюдений над бытом заключенных, изучает их творчество в литературе, на театре, пробуждая самодеятельность масс, внимательно следит за перипетиями развития этого творчества, отбрасывает мещанскую накипь, устраняет идеологические ухабы и распутицу, скрипучую телегу кустарной идеологии стремится заменить авто-научного познания.

Но прежде, чем приступить к «лечению»,—нужно поставить диагноз. А чтобы поставить диагноз—нужно внимательно изучить психологический строй уголовного мира.

Он очень своеобразен, в нем отпечаток эпохи «бури и натиска», в нем кастовая подоплека—кастовая ограниченность. Чтобы прорвать кольцо кастового „ноли ме тангерс“ —нужно услышать их песни, что распевают в поздний час на койках, перечитать вороха рукописей, которые собираются литкружками, узнать их биографии...

Это сложная работа. В Соловках она ведется интенсивно.

В наших очерках мы хотим поделиться частью тех материалов, какими располагает УСЛОН.

Анкеты, рукописи, театральные постановки, стихотворения—через эти груды материалов вырисовывается фигура уголовника-шпаненка в классическом кепи, с цыгаркой (не менее классической) во рту, с охалкой во взоре и с матом на устах.

Шпана. Этим словом называют мелких представителей уголовного мира.

Шпаненок — это „пролетарий“ уголовного мира, в лучшем случае середнячек.

Шпаненок—это выразитель огромной сирой массы уголовного мира.

Это ширмачи и домушники, хипесницы и банщики, городушники и поездушники, фармазонщики и кукольники. Но это работники мелкие, их мечты—утолить голод. Их желания—порошок кокаина или бутылка скверной самогонки в шумно-драчливой пивной под скулящую песенку хора „русских певцов под управлением Баяна“...

Они не «герои».

Они «толпа», они не «творцы» шпанской «культуры», а ее жертвы.

Они, эти шпанята, эксплоатируемые «богатыми» преступниками—воровскими подрядчиками и притоно-держателями — представляют довольно своеобразный воровской „пролетариат“.

Мы уже говорили — они проникнуты кастовым духом.

Их язык — жаргон, воровской жаргон «хаз», «малин», темных бульварных аллей и публичных домов.

Этим языком они отгораживаются от всего остального мира, а в своем искусственном мире создают свою мораль, свою романтику, свою общественность.

В этом подполье, в этой нарочитой отверженности, в этой идеологической изолированности образуется благодатная почва для произрастания преступных замыслов и их выполнителей.

Мир делится ими на три «класса»:

Свои, фраера и легавые. Свои — эти деляги по ширмаческой, хипесной и прочим специальностям.

Фраера—эти об‘екты для обработки. Легавые — это враги, представители угрозыска и ГПУ.

Свои — неприкосновенны.

Фраера — вне «закона».

Легавые... «сука ты, хуже легавого», такова пословица «своих». Такова их самая обидная брань.

Так в сложной общественной прослойке «свои» помещаются между фраерами и легавыми. Фраера — кормильцы и поильцы. Это дойные коровы, это убойный скот. Легавые — враги.

В заячьей психологии шпаненка легавые защищают не государственные устои, не правильную, здоровую жизнь производящего общества, а имущество фраеров, их священную собственность. И вся ненависть шпаны обрушивается на институт легавых. Отсюда и видимая революционность шпаны. Отсюда ее внешнее бунтарство. Но поход их против собственности вовсе не наполнен пролетарским революционным содержанием. Отнюдь. Ненависть к госу-

дарственным органам сама по себе еще не говорит о революционности. И было бы большой ошибкой «революционность» шпаны представлять себе революционностью без *ковычек*.

Внимательно проглядев материалы, которые мы предлагаем читателю, можно с большей убедительностью удостовериться в правильности вышесказанного. Приоткроем же слегка завесу над неизвестным нам миром и заглянем в разнообразные его уголки.

ИХ ОБЛИК

Цветы асфальта

Они — цветы асфальта.

Они растут не в теплицах под упругими стеклами, их обдувают пыльные ветры, жжет капризное солнце улицы. Эти цветы знают жесткую непогодь, мокрой, слезливой, косматой старухи осени, воющей свою унылую песнь одинокой вдовицы, жаркий поцелуй городской чахоточной красавицы лета и холод ядреной бабушки благодушной, строгой зимы.

В каменной громаде огромного города—много этих цветов. На тротуарах среди шумных улиц цветут эти цветы. Сколько ног в сапогах, в ботинках, сколько ножек острием каблуков растаптывают эти цветы. А цветы растут и крепчает стебель, уверенно неся юношескую голову с непокорными мыслями под мохнатой шапкою нечесаных волос.

Глаза смотрят на шумный город, мысли беспокойно бурлят в молодой голове, жизнь так сложна, так дьявольски сложна и жестока.

Где найти те скрижали, на которых написаны мудрые правила жизни? Люди слепы, глухи, немы...

Разве они в теплой квартире, за ярко вычищенным самоваром поймут того, кто жмется в это время в углу холодного под'езда, спит в „развалке“, кто бро-

сает горячий взгляд на огненный квадрат освещенного окна, кто, кутаясь в рваное барахлишко, благословляет вшей, ибо вши греют его.

У людей собственность, семья.

У него одиночество — холодный угол, уличный фонарь и тротуар.

В обществе, где „приличная" т. е. имущая часть населения забронировалась церковью, полицией, замками—наш шпаненок точил втихомолку зубы и рыл ту яму, которая теперь отделяет его от жизни страны.

Он один в кругу отщепенцев, как сам он. О чем мечтает? Чем полна его головушка?

Он хочет жить. Жажда материального благополучия—это все его существо. О, он не Жан Вальжан, герой и бунтарь, наш шпаненок, он восстает не против собственности, а за нее.

Он ищет ее. Он раб ее. Он пылинка, несомая ветром. Он сын города—капитала. Он результат этого города.

Ходячий, двуногий упрек!

Идите с ним в корявый „Рваный" переулок, что гнилой челюстью торчит у зеленого Цветного бульвара, гляньте, как он трепетными руками развертывает маленькую бумажечку, а в бумажке серебристый порошок-кокаин.

Деньги, хмель, похмелье, карты, холодная проституточная любовь-разгул, кражи, побои—где в этой вакханалии научиться мыслить и жить?!

Ведь мир—враг. Весь мир топчет цветы асфальта.

Одиночество. Одиночество и пустота.

Если вы увидите юношу или девицу в темную, осеннюю ночь на склизкой скамейке бульвара, не глядите на них глазом наблюдателя. Подойдите к ним ближе.

Прислушайтесь. Тссс...

Для кого весна отрадная—
Для меня отрады нет,
Ах, зачем я, несчастная,
Уродилась в этот свет?
Люди злые, ненавистные
Хочут с милым разлучить.
Из-за денег, из-за ревности
Брошу милого любить.
Брошу плакать и печалиться,
Брошу горе горевать,
Моя молодость загубленная
Не воротится назад.

Шуршат листья под крепкими каплями дождя, ветер нахально бьет оплеухи по дрожащим деревьям.

В словах песни, в этом заунывном напеве—тоска, безнадежная тоска. Разве не в этой, больной надрывной жизни рождались эти юноши и девицы?

Их жизнь—материал для патологических исследований

Приклеить ярлычки „больные" или „элементы", значит, ничего еще не сказать, ничего не открыть. Ведь в расшифровке этикетных названий и погребена тяжелая и серьезная задача.

Найти ключ к познанию подлиной, сложной, запуганной жизни этих „элементов", приобрести словарь к их языку переживаний—вот наша задача.

Если мы разрешим эту задачу на Соловках, облик этих юношей и девиц—это многоликое чудище города,—сможет стать ручным, полезным материалом для новой, творческой жизни.

„ИХ ТАЙНЫ"

„Пивная культура"

Перед нами тяжелая тетрадка, исписанная мелким почерком с первой страницы до последней. Автор заносил в эту тетрадь „ума холодные наблюдения" и, главное, „сердца горестные заметы". Перед нами „человеческий документ" в том смысле, как понимал

его Золя. Эта тетрадь—склеп мечтаний, чаяний и надежд...

В этом документе мы можем читать человеческую жизнь, сжатую в корявые чернильные строчки.

Владелец этой тетрадки записывал те произведения искусства, которые волновали и трогали его. Известно: каждый человек берет от искусства то, что ему нужно.

В вечерний час перелистывал он серенькие страницы тетради и любимые образы вставали перед ним. И в этих образах—кусочки подлинной души автора. Автор говорит правду наедине с собой и с тетрадкой.

Альбом старорежимной институтки, исписанный пошленькими стишками—лучшее отражение ее бомбоньерочной души. Переписка не даром так полюбилась почтмейстеру из Гоголевского „Ревизора"—там, поистине, „лучше, чем в Московских ведомостях".

„Мы так привыкли маскироваться перед другими, что в конце концов начинаем маскироваться перед самими собой".

Слова эти Ларошфуко мы принимаем к сведению:

— Маскируясь перед собой—мы выбираем любимые цветы, желанные краски, прилюбованные формы. И в этом подборе красочек и глянет характерец—подлинное лицо со всеми примечательными аттрибутами.

В альбомах и тайникак лирических строф—крепко и увесисто помещается идеология их владельца.

Итак, в

Альбом!

Что выписано в этих страницах?

Что помещается за упругим кардоном переплета?

Перелистаем страницы.

Почитаем.

„Белее покрывало"—стишки о венгерском графе, „Сумасшедший" Апухтина.

Ну, это туда-сюда из „Чтеца декламатора“. Тоже почтенное издание, услаждающее вкус „любителей изящных словесностей“.

„Чудный месяц плывет над рекою“ и „Девушка младая (отнюдь не молодая) не хочет любить“ — сверкают замусоленные „очи черные, очи страстные, жгучие и прекрасные“, „Костер в тумане“ продолжает неуклонно светить, а „искры гаснут на лету,“ автор „помнит день, о, это было счастьем,“ когда „под душистою веткой сирени“ происходит, черт знает, что, и так далее, и так далее звучат скрипучие слова, тянется эта музыка дешевой скрипки, от которых пахнет дешевыми ресторанами и дорогими шантанами, через гнуснейшие образы людской пошлости, ничем не заклеенной — пританцовывая, как разбубенный залихватский плясун — бегут, бегут веселые строчки.

Ах, веселится паренец, веселится наш знакомец. Вот он раскрывается во всю свою „узенькую ширь“.

Пожалуйте — странички тетрадки поют голоском в самомдельнейших „хаз“, „малин“ и уютных квартирок Цветного Бульвара и пресловутого „Юра“ — „Хитровки“.

Пригласил я ее в ресторан скорей,
Вижу водочку, с'ел селедочку.
Предложил я ей закусить.
Вижу дамочка, моя мамочка.
Стала тоже водку пить...

Заметьте эти слова. Не забудьте эту „мамочку и и дамочку“, которая так ловко хлещет водку. Но дело, конечно, не в этой очаровательной „мамочке“.

Дребезжат несмазанной пролеткой яркие образцы, близкие сердцу владельца этой замечательной тетрадки.

Наш герой заботится о девицах. Им, своим подругам, выводит черным по белому. Вот оно: „Для девиц“.

Здравствуй, Маня дорогая,
Здравствуй, розочка моя,
Косы русы, завитые,
Поглядеть бы на тебя.

И вот что отрезает эта очаровательная девица:

Ты полюбил одну богачку—
Просто знаю, милый, я
Пускай она тебя же любит,
Пускай владеет она тобой.

А в сущности — приплясывает: люби не люби, а подплясывай:

Захочу—принять с'умею,
Захочу—ногой и в шею,
Этикет мне Ваш смешон—
Я сама себе закон!

И тут же девица поясняет, что она принимает за этикет:

Захочу—оттаскаю,
Захочу—приласкаю.

Но черт с ней, с этой девушкой, у которой „русы косы", „кари очи" и все достоинства с брошюры. „Битва русских с кабардинцами или прекрасная магометанка, умирающая на гробе своего мужа". Ее облик ясен, она вся из качеств героини, взятой на прокат у заезжанных романсов.

В тетрадке есть и „жизнь певицы". Четким почерком весьма аккуратно тетрадовладелец выводит черным по белому:

Я—женщина и всем понятно,
Что не могу я отказать,
Когда упрашивают внятно
Мне спеть или что-нибудь сказать.

Тут уж, как пишут провинциальные репортеры, „комментарии излишни".

В остальных листах тоже романсы, „страдные весны", „песеньки пьерет" и т. д. и т. д. Все испачкано, а не исписано романсами, романцами и романсиками—какая-то пивная культура, пивное искусство, что подается вместе с воблой и горохом на пяти затейливых тарелках. Какой-то ураган шалости проносится перед вашими глазами. Зачем тетрадовладелец запруживает свою память этой дребеденью?

Почему автор так аккуратно заносит чепуху, нумеруя точно страницы, и многотерпеливо вывел на последней 108? 108 страниц убористых строк!

И ничего, кроме романсов, песенок и заплесневелых старых стишков. Записаны тюремные стихи. Тюремные стихи, как и заметки на полях тюремных книг—чрезвычайно любопытны, как „человеческие документы".

За что меня вы засудили?
За что сослали в Соловки?
Судьбой несчастной наградили,
За что меня вы привлекли?

Оставим без ответа эти песни и последуем вместе с ним в Минский централ.

Вот в Минском централе
Два спутника сидят,
Они оба приуныли—
Про Марусю говорят.

Один повествует о том, как он: Заехал к милой Мане,

Там нашел себе покой.

Покой довольно своеобразный:

Заказал я пару пива,
Полбутылки взял вина,
Лежит Маруся па диване,
Побледнела, как сова.

Автор весьма развязно обращается к этой, так невероятно (как сова) побледневшей, Мане:

Раздевайся, не стесняйся,
Будем вместе мы кемать,
Завтра рано на рассвете
Будем выручку считать...

Оставим нашего героя в этой любовной идилии. Зачем мешать? Читаем дальше. Тюрьма.

Как вспомню про свободу—
Слезы горькие лью.
Чистота вокруг такая—
Нигде соринки не найдешь,
Подметалов штук по двадцать
В каждой камере на день.
Собирайтесь, арестанты,
На бесплатный кипяток.

А вот и „романтические“ стихотворения:

Тюрьма. Железная решотка,
Шагает мерно часовой,
Страдает узник, изнывает,
Поник печально головой.
Свой взор в синеющие дали
Как-то невольно устремил,
Пред ним былые дни восстали,
Восстала та, кого любил.
Мелькнули яркие картины:
Старинный сад, трель соловья,
И как под дубом исполином
Промолвил кто-то „я твоя“.
И нега первых поцелуев,
Святость божественной любви
Не сокрушала идеала.
О, те минуты! Где же вы?

Тут и „соловей с трелью“, и „узник“, и „старинный сад“, и „святость“ божественной (ого!) любви, и пр. словечки на цыпочках, которые ни о чем не говорят, но вязнут в зубах, приторные и липкие, как рахат-лукум, надоедливые, как дачный граммофон.

А вот стихотворение с уголовной романтикой, стихотворение о Ланцове, который, несомненно, является тем недостигаемым образом, о котором вздыхает автор в вечерний темный час.

Прощай, тюремные палаты,
Прощай, наш длинный корридор,
Прощай ты, варвар, наш начальник,
И ты, товарищ часовой.
Бежал я лесом, бежал я темным,
Бежал я много городов,
И повстречался там я с девченкой,
С которой три года я жил.
И та девченка все узнала,
Что Ланцов беглый арестант,
Она пошла и заявила...
Ланцов опять в тюрьму попал.
Ах, здравствуй, темные палаты,
Ах, здравствуй, длинный корридор,
Ах, здравствуй, варвар, наш начальник,
И ты, товарищ часовой.
Друзья, открыто вам признаюсь—
Девченкам не нужно говорить:
Они имеют слабый карактер
Идут в Губрозыск заявить.

Этим дидактическим куплетом о „слабых характерах“ заканчиваются излияния лирической души.

Однако, не довольно ли? Не рисует ли вам весьма достаточно, что во всех этих строчках есть безусловная внутренняя согласованность, что совершенно естественно, если счастливый любовник Маши для „покоя“ вместе с „парой пива“ потребует романсов, где обязательно чтоб было о безумных ночах и ветках сирени“, а в тюрьме на окошке будет слезы лить от невыносимой чистоты и от коварства любовницы, у которой, несомненно, „слабый характер“.

То, что мы читали в этом „таинственном“ дневнике—само по себе, пожалуй, и не представляет ничего оригинального. Тысячи людей поют такую дребедень, но немногие записывают. Но наш старательный герой *чужими словами* записал *свои мысли*, он дал нам в тетрадке клише своего подлинного облика, своей неподдельной духовной сущности.

ИХ ПЕСНИ

Песня—это заветные думы.

Песня—это исповедь. Скажи мне, что ты поешь, и я скажу кто ты.

Поэтому песни улицы, песни фабрик, песни деревни—интереснейшие человеческие документы. Они вскрывают потайные надежды, чаяния и желания.

Песнь—зеркало души.

Перед мной тетрадка песней шпаны. Шпана—интересный и занимательный мир.

Гляньте на юношу с измятой кепкой—папироса за ухом и руки в кармане. Мир, весь мир—его квартира, мрачные тучи—потолок, „с травой канава заменит пышную кровать....“—полная свобода от вещей—от мещанских устоев, от самоварного уюта и от самоварной морали—это ли не прекрасно?! Безусловно, в обстановке буржуазного общежития воровство име-

ет глубокий социальный смысл. Вор подрывает авторитет „священной собственности“, вор—протестант против морального кодекса, против тех жизненных устоев, на которых базируется это общество.

Кто ярче и крепче ненавидит синий мундир полицейского и темные подвалы розыскных бюро, чем он, развязный юноша с испитым лицом и „беспокойной ласковостью взгляда“?

Ночевали ли вы на вокзале в каше человеческих тел, где люди как вши, и вши как люди?

Бродили ли вы по улицам, опестренным ярким многоточием фонарей, один, в драных ботинках, полных воды, в драном пальтишке?!

Останавливались ли у яркой витрины гастрономического магазина, глядели ли вы через стекла на окорока, сыры и колбасы, высматривали ли вы их с звериной жадностью и досадовали ли на упругое стекло, что разделяло вас от них?

А рядом снуют экипажи, визжат трамваи, сытые люди толкают вас на тротуары, грязью обдает авто, а вы один—совершенно один в этом огромном и самодовольном городе.

И в вашей душе яростный протест—вся ложь капиталистической правды обнажена перед вами—вы ненавидите этих людей с сытой моралью и узколобой любовью. Казалось бы, в среде воров должна была родиться яркая песня свободы и гнева. Казалось бы, в этой среде должны были найтись крепкие и ядреные слова протеста.

Увы. Капиталистический мир создал воров по образу и подобию своему: не борцов создал он, а рабов, не ненависть к собственности воспитал он, а зависть и тоску по ней.

Может быть, поэтому во времена французской революции в Париже проститутки кричали: „Да здравствует король“... в то время, как гамены бросали в

короля камешки изумительных острот, а рабочие в кафе распевали свои незабвенные песенки.

Совершенно естественно, что песни шпаны носят на себе печать буржуазной идеологии, дышут ароматом мещанства.

О чем мечтает шпаненок? О чем грезит? Чего хочет он?..

Он не расскажет вам об этом даже по секрету, но он невзначай пропоет вам об этом.

Прислушайтесь к песенке их, то ноющей, то скулящей, то охальной, то повизгивающей—вы услышите в ней настоящие слова, их слова...

. . . . А московская Хитровка,
Я на Хитровом родился.
Я на Хитровом домошился,
И воровать я научился.

———

Взял гитару тонку, звонку,
Большое острое „перо“,
И не боялся ни с кем встречи:
Убить, ограбить—хоть бы што!

Это портрет героя, быть которым мечтает еще беззубый шпаненок. Что делает дальше наш „герой“...

В одну хазу завалился.
Сломал я тысячу замков,
И комиссара я зарезал—
Вот громила был каков!

Вот каков! Громила был, действительно, достоен удивления. Но что „заработал“ он?

Взяв у него шестьсот червонцев,
Купил большой, огромный дом,
И рысаков орловских пару,
Содержал огромный двор.

Ага. Ни дать, ни взять, мечты нашего отечественного Рафке с Ильинки.

А дальше развертывается во всю глубину и ширь необузданная фантазия зарвавшегося мещанина:

На рысаках я раз'ежался
По городам и островам...
Домой я поздно возвращался,—
Здесь начиналася игра.
Кто приходил ко мне с деньгами,
Тот уходил совсем пустой...
И я над ними надсмехался
С своей красавицей женой.
Но изменилось мое счастье
Для удалого молодца,
И проигрался я до нитки,
И начал снова воровать.

Итак: взял деньги, „зажил", что называется, во всю...

Тут и экипаж, на котором он „раз'езжается", и „большой двор", и игра в карты, которой наш герой занимаатся в свободное от раз'ездов время.

Какое убожество! Какая скудность!

Уныла и тошнотворна эта мечта голодного отщепенца, как паскудна точь в точь такая же мечта денди из золотой молодежи, опробоpенного денди с моноклем в глазу, лысиной на голове и с комплектом венерических болезней во всех остальных частях тела.

Тут нет даже благочестивой мысли мелкого буржуа о „магазинчике" и проч., тут на-лицо „утонченная идеология" высших буржуазных бездельников. Возьмем другую тему: любовь.

Любовь „отверженных" рисуется наивными в самых романтических тонах:

Вот она, свободная любовь, любовь без рабства, устоев, вещей и т. д.

Что же, пойдем вслед за нашим героем в его „хазу“, где он на этот раз счастливо устроился:

Полюбил Маню, поверил,
И катерму Мане снял,
Перед друзьями лицемерил,
Воровал, Мане таскал.

Но Маня недовольна „героем“. Полюбила другого? О, нет! Мотивы недовольства знакомы и “приличным семействам“:

Мане что-то скучно стало:
Я хочу, хочу простор,—
Чтоб шикарная коляска
С шиком в‘ехала во двор.
Брилианты и браслеты,
Платье легкое, как пух,
Итальянские картинки
Надоели Мане вдруг.

Аттрибуты этого семейного счастья изумительны: итальянские картины, платья, как пух...о, мечты, мечты, гда ваша сладость...

Но главная мечта Маши в следующих строчках:

Маня плачет и тоскует:
Я боюсь, боюсь одна.
Будем жить с тобою дружно,—
В театре ложа нам нужна.

Ложа. Вот где зарыта собака! Ах, Маня, Маня! Я узнаю тебя по выжженным таврам твоего мещанства. Это ты бесцветной девушкой заполняла гостиные Чеховских чиновников, это ты в советских канцеляриях, подмазывая губки помадой, выплакивала пайки.

Любовь зла.

И герой смиряется:

Ну, так что-же, купим ложу,
Если ложа нам нужна,
Значит, хочешь сорвать кожу,
Маня, милая моя.

Капризная Маня создана по образцу пазухинских и опочининских романов. Но жестокость этой красотки „ложей“ не исчерпывается.

Драма начинается ниже. „Герой“ идет на „дело“.

«Дело» не выходит.

С раздробленной головой, ночью голодный и продрогший стучится он в свою «катерму»...

Увы! Ответа нет. И, наконец, дворник отвечает:

Если ты не уберешься,
Я мильтона позову...

О чем же горюет герой? Отчего так бьется его разбитое сердце? Обманула. покинула... нет:

Где же мебель,
Где же посуда,—
Все ты, Манька, увезла...

И удивление перед ее ловкостью:

Ловко, ловко ты надула...
Манька, стерва, где же ты?..

Так кончается драма.

Что случилось потом—автор не рассказывает, он оставляет героя с раздробленной головой на улице, читателя в досаде на эту скучную картину шпанской драмы.

В другой песне герой активнее. Он полон мести за измену. Его «Маня» не несет «передачу» и не приходит на «свиданку».

Вот чем грозит ей герой:

Не спится мне,
Не лежится мне,
И сон меня не берет..
Приди же, приди, дорогая,
И навести меня.

„Она“ отвечает:

К тебе я приходила
К тюремному замку:
Ворота все были закрыты,
И сука часовой...

Но уверений не принимает жестокий любовник:

Ах если бы ты захотела,
Ко мне бы ты пришла,
Все камеры были б открыты,
А стража вся блатна.
Ты думаешь, сученка,
В тюрьме я пропаду—
Вот выйду я на волю,
Тебе я отомщу.
Все ручки, ножки сломаю,
И спиночку свихну,
Тебя я в могилу отправлю,
А сам в тюрьму пойду.

Какие грубые и корявые картины мести рисует больное воображение.

Любовь шпаны — вздорная, вымученная, воображаемая любовь.

Слащавая и надрывная, она не носит в себе и тени здорового чувства. Чисто любовные песни проникнуты романсовым духом:

Ах, пойте вы, клавиши, пойте,
А вы, звуки, неситесь быстрей...
Перед богом страницу откройте
О несчастной вы жизни моей.

Не таким я на свет уродился,
Не таким родила меня мать,
Часто плакал в тиши одиноко
И душа моя знала покой.

Но вот выпала доля мне злая:
Срок отбыл я в проклятой тюрьме,
Изнуренный болезью — чахоткой,
Был я выпущен в третьей весне.

Злые люди завидовать стали.
Что судьба нас так рано свела,
А мы горя с тобою не знали,
И ты, детка, любила меня.

Наше счастье разбить порешили,
Нарушили семейный покой,
От тебя меня, детка, отняли.
Ах зачем я несчастный такой?!

Я впервые с тобой повстречался
И увлекся твоей красотой,
Я жиганскою клятвой поклялся:
Не разлучны мы, детка, с тобой.

Я, как коршун, по свету скитался,
Для тебя все добычи искал,
Воровством, грабежом занимался,
А теперь за решетку попал.

Ты прости же, прости, дорогая,
Что ты в жизни обманута мной,
Что проклятая жизнь воровская
Свой конец ты нашла роковой...

Эта песенка из числа тех, которые тронуты литературкой.

В ней мало шпанских словечек, играет рояль («клавиши, пойте») и вообще вещица прилизана. Но в ней много специфического, истерического кокетства, пьяненьких слез и нарочитой тоски. И песня эта одна из любимых песен шпаны. С такими же геранными словечками и с такой же кокетливой чахоткой «плакучих ив на могилке героя» и эта вот песенка:

Я помню комнатку уютную,
Вдвоем сидели мы с тобой,
Тебя я в губки целовала
И называла—милый мой.

Ты обещал венец и славу,
И, как ребенка, в даль манил.
Увлек, увлек меня для забавы,
А сам другую полюбил.

Уехал ты в страну чужую,
Оставил бедную меня,
Ее ты счастьем наслаждаешь,
Меня несчастную забыл.

Пускай богачка тебя любит,
Пускай она владеет тобой,
Она любить так не сумеет,
Как я любила, милый мой.

Богачка золотом займется,
И позабудет про тебя,
А если в жизни что коснется—
Меня уж нет, в могиле я.

Моя терновая могила
Травой зеленой порастет,
Кого я страстно так любила,
К моей могиле не придет.

Вот скоро, скоро, друг мой милый,
Венок терновый мне сплетут,
И скоро, скоро гроб дубовый
Со мной на кладбище снесут.

Там жестко спать, но нет измены,
Там нет коварных, злых мужчин,
И там залечат в сердце раны,
Их много так в груди моей...

Этот «вопль истомленной души»—главный стержень шпанских вдохновений. Иногда он мешается с некоторой „самодеятельностью“:

Сегодня воскресенье, мой милый не пришел,
Наверно рассердился, с другой гулять пошел.

И решительно:

Отдай мою ты карточку, отдай мою любовь,
Ты высушил мне сердце, ты выпил мою кровь.

Приведем еще несколько песен, воздерживаясь от каких бы то ни было комментариев. Читатель встретит и знакомые песни, песни старой каторги. Помещаем мы их только для того, чтобы ознакомить читателя возможно шире с тем песенным репертуаром, который особенно близок шпане. Справедливость требует отметить, что поэтические песни старой каторги стали историческим материалом, что ближе и понятнее сердцу современного шпанецка охальные городские песни трущоб, где своеобразный урбанизм наидешевейшего пошиба поднимается во весь рост.

УРКА

Шли два уркана
С советского кичмана,
С советского кичмана домой;

И только ступили
На тухлую малину,
Как их разразило грозой.
Товарищ мой верный!
Товарищ мой милый!
Болят мои раны на груди...
Одна утихает,
Другая начинает,
А третья рана на боку.
Товарищ мой верный!
Товарищ мой милый!
Зарой мое тело на бану.
Пускай малахольные
Легавые смеются,
Что умер геройский
Уркан я!

Если урика...

Если урика поймали,
Так не нужно его бить,
А ведите в суд народный,
Его будут там судить.

В Фонарном переулке
Труп убитого нашли
Он был в кожаной тужурке
С большой раной на груди.

Мамаша узнала,
Что ее сын убит,
Ее сердце подсказало,
Что в районе он лежит.

Он лежит и не дышет
На холодной земле;
Двадцать девять ран имеет
На усталой голове.

Смерть арестанта

В палате, в тюремной больнице,
На жесткой постели, в цепях,
С трудом открывавши ресницы,
С безжизненным взглядом в очах

Лежит, умирая, бедняжка,
Покинутый всеми, один.
Лишь мрачные стены палаты
Смертельно глядят перед ним.

Но кто же поможет? служивый...
Он спит и не слышит его;
И только угрюмые стены
Смертельно глядят на него.

И вот далеко за церковью
Раздался таинственный звон,
Он тихий и нежный печальный
В палату ворвался, как стон.

Вот скрипнул — малый одетый,
Железная дверь на петлях,
Забегали тени от света
На мрачных и страшных стенах.

Только часовыми окруженный
С молитвенным взглядом в очах
Вошел, сединой покрытый,
Тюремный священник в очках.

Он старческой мелкой походкой
К больному тогда подошел
И, склонившись к его изголовью,
Потихоньку молитву прочел.

И вдруг, прижимая рукою
Свою наболевшую грудь,
О, миленькая мама родная,
Приди ты на сына взгляни.

Я сын твой, тобою рожден,
Я детище, мама, твое;
Прости ты мой грех,
Присужден мной, прости преступленье мое!

Я жду, ожидаю, родная
Тебя перед смертью обнять,
Ах если бы, мама, ты знала,
Как трудно в тюрьме умирать!

Песня несчастного.

Ох, боже мой милый, свободы лишился,
В Бутырской тюрьме я сижу,
Как вспомню про Дон, про милые сердцу—
Так словно безумный хожу!

Сижу, как бывало, и часто вздыхаю
И думаю лишь об одном:
Оставил детей и жену молодую,
Оставил родительский дом.

Оставил... Ну что же! Судьбе, знать, угобно
Разбить наш семейный очаг!
В сыром подземелье я должен томиться,
В Сибири сгнить должен мой прах.

Ах, боже всевышний, тобой я наказан—
Тобой я свободы лишен!
И злыми врагами был признан виновным,
В Сибирь за бандитизм осужден.

Сидел я безвинно, лишенный свободы,
Лишен я свободы святой,
Не вижу лучей восходящего солнца,
Земных прекрасных полей.

Тяжелые цепи на ноги одеты,
Очи же мне спать не дают,
А мрачные стены мне сердце разбили,
Все чаще к могиле мой путь.

Пробил на прогулку звонок каторжанский
Все вышли, но я не иду,
Хожу по одиночке, сам горько вздыхаю
И думаю лишь об одном:

Как в юности, было, любовью играя,
Я сам в об'ятиях держал
И звуки поцелуев раздавались,
И сердце замирало в груди.

Последний денечек я иду на свидание
Детей и жену молодую обнять.
А утречком завтра с конвоем отправят,
Далеко, далеко я уйду.

Соседка.

Не дождаться мне видно свободы,
А тюремные дни будто годы.
И окно высоко над землей,
А у двери стоит часовой.

Умереть бы уж мне в этой клетке!
Как бы не было милой соседки!
Мы проснулись сегодня с зарей,
Я кивнул ей слегка головой.

Разлучили нас, сдружили в неволе,
Познакомила общая доля.
Породнило желанье одно,
Да с двойною решеткой окно.

У окна лишь под утро я сяду,
Волю дам ненасытному взгляду;
Вот напротив окошечко стук,
Занавеска подымется вдруг.

И, как божья птичка, вдвоем
На широкое поле порхнем.
У отца ты ключи мне украдешь,
Сторожей за пирушку усадишь.

А уж с теми, что поставлены
к дверям,
Постараюсь я справиться сам.
Избери только ночь потемнее,
Да отцу дай вина похмельнее;

Да повесь, чтобы видеть я мог,
На окно полосатый платок.

* * *

Голова ты моя удалая,—
Долго-ль буду тебя я носить?
А судьба ты моя роковая,
Долго-ль буду тебя веселить?

Для чего ты меня спородила,
И на что меня бог так создал?
Для того, чтоб по свету ски-
таться
И тюремную жизнь испытать?

Много раз я сидел в одиночке
И не видел неволи конца —
Знать умру я в тюрьмной постели,
Похоронят меня кое-как!

Повезет меня тощая кляча
И конвойные за гробом пойдут,
Похоронят меня под забором,
На могилу никто не пойдет!

Позор.

Однажды в спальню захожу,
На столе лежит повестка,
Суд требует меня
По делу моего убийства.

Смотрите, всем я хороша,
Мой взор не омрачен годами,
Считайте в нем — моя душа,
Она открыта перед вами.

Больную грудь и душу затая,
Свое молчанье не нарушу,
За что он полюбил меня —
За красоту мою иль душу?

В каком-то непонятном сне
Он овладел, безумец, мною
И тихо вкралась в душу мне
Любовь коварная змеею.

Ах, долго я боролась с ней!
Ах, воля чувств не победила!
Ушла от матери своей,
Ах, судьи, я его любила!

Свой стыд и девичий позор
Все на груди его забыла —
И лаской страстною его
Я, как святыней, дорожила.

В кругу товарищей друзей
Он долго хвастался другою,
Он гнал и презирал меня,
Не дорожил безумец мною!

Однажды он прогнал меня,
Я отомстить ему решила,
Вонзила в грудь кинжал ему,
О, судьи, я его любила!

Лежи, мой мальчик дорогой,
Тебя я больше не увижу!
Тебя любила всей душой,
А вас я, судьи, ненавижу!

Я снисхождения не прошу,
Признаю себя виновной.
Судите, судьи, поскорей!
А то и так уж сердцу больно!

Вдруг заметалася она,
Последний вздох в груди раздался,
А приговор в руках судей
Так недочитанный остался!

Маме.

Ты помнишь ли, мама, ту темную ночь,
Когда меня дома не стало;
Красавец бандит увозил твою дочь,
Увез, я тебе не сказала.

Вот слышу: вдалеке колокольчик звенит,
Там едет жиган полупьяный;
Поедем со мною, красотка кутить
В ближайшем кафе ресторане.

Мы пили, кутили чуть виден рассвет,
Там жизнь мне казалась иная,
Он сунул мне в руку кредитный билет,
Сам вышел, романс напевая.

Вслушиваешься в песни шпаны и поражаешься бедностью их фантазии.

Перед нами подлинное и беднокровное декадентство.

В какие эпохи довлеет декадентство?

В эпохи упадка общественности, политической пассивности.

Родило декадентство безделье в глубочайшем и широчайшем смысле этого слова.

Разложившаяся буржуазия убегает от действенной трудовой жизни в скорлупу искусства. В просторе этой скорлупы, в этой мнимой свободе рождаются и эстетский аморализм, и суб'ективизм, и внешнее бунтарство.

Такими же чертами отмечено и творчество шпаны.

Только черты эти схематичнее, проще, элементарнее и грубее.

Декадент тянется „к театру ужасов", мюзик-холлу и шантану, шпана зачитывается Пинкертоном и поет о Рокамболе, созданном по образу и подобию своему.

И в самом деле. Вне дисциплины, трудовой дисциплины, нет искусства.

На чахлой почве безделья цветут бесцветные цветы. Образы тусклы, ритм стиха беспорядочен и неряшлив, как походка пьяного или кокаиниста.

И как убог словарь, язык „своих“ — жаргон.

Правда, их пословицы и остроты подчас метки, колки, они обжигают, колят, но язык их искусствен и полумертв.

Не чувствуется биение пульса жизни за этими вычурными словами, это не слово, это ярлык и это не язык—живой и полноценный, а жаргон, условный говорок, лишенный внутреннего органического содержания и видоизменяющийся механически.

Я вспоминаю песню о знаменитом убийце Комарове. Перед нами лишь протокол.

Безобразно, бескрасочно, тускло:

Вот в Москве за Калужской заставой,
Всем известно, что жил Комаров.
Торговал он на Конской конями,
Народ грабил он чище воров.

Только конный базар открывался, —
Появлялся и тут Комаров.
Меж приезжих крестьян он толкался,
Набивался дешевым конем...

Выше мы разбирали шпанскую лирику, сейчас перед нами эпос.

Эпос стоит лирики.

Только один куплет всей песни выразителен:

Напоив покупателя в доску,
В переносицу бил молотком,
Кровь смывал он ручьями в корыто,
Теплый труп он сгибал пополам.
В дело шла бечевая веревка —
Ноги крепко вязал он к рукам.

Но и эти строчки дальше описания не идут; они описывают, но не изображают.

Тема, нами разбираемая, конечно, заслуживает серьезного внимания.

Мы воздержимся от выводов. Но ясно одно:

Вне трудовой дисциплины нет искусства.

Только труд дает образ и ритм, только в трудовой атмосфере цветет подлинное творчество.

Все же, что вне ее — декадентство, разложение и смерть.

Надо думать, что в Соловках из уст шпаны мы услышим новые мотивы, отмеченные печатью рабочего искусства.

Оснований так думать—более чем достаточно.

ИХ ТЕАТР

Они имеют свой театр. Театр „своих". Конечно, на театре труднее наблюдать за движениями шпанских влечений. Театр — искусство слишком материальное, слишком вещественное. На театре звучит криком то, что в литературе шепчет.

Поэтому „свои" на театре предпочитают многое замалчивать. В просторной зале Соловецкого театра мы видели спектакли коллектива „своих". Спектакли, интересные уже тем, что режиссеры, авторы и исполнители все были уголовниками чистой крови.

На этих спектаклях вспомнились спектакли „Мертвого дома". Нет, уже не „Кедрила Обжора" услаждал зрителей своим ядреным юмором, не бренчанье заковыристой балалайки аккомпанировало зрелищу. Отнюдь. Декламировались стихи, разыгрывались одноактные пьесы, но в этой приличной интерпретации нет-нет да и кривилась гримаса шпаненка.

Трудно установить, где у шпаны искренний, творческий порыв к советской современности, где чисто формальное разрешение вопросов дня. Во всяком случае, материал для нашей задачи следует искать не в многоречивых, громкозвучных и разухабисто революционных фразах, которые звучали со сцены театра. Тут трескучая фразеология, а не искренняя проникновенность в сущность вопросов дня. Но в куче этих чисто „формальных" достижений — вдруг ярко мелькнет знакомая гримаса и, пожалуйте, наш знакомец собственной персоной перед вами. Его герой, герой пустозвонных фильм, его учителя—куплетисты из пивной.

Шпаненок развязен и хлесток. У него дурные образцы. Детективная драма из районного кино—это тот опиум, которым он накуривается в темных театральных залах, разлюли-малинная чечетка на заплеванной эстраде районной пивной—это альфа и омега его хореографических вожделений.

А текст—не заимствован ли он из надписей тех же кино-фильм? На театре „своих" неинтересно наблюдать сколь успешно „свои" усвоили технику драматургии и актерского мастерства. Пусть плохи учителя, у них не было лучших. Они незнакомы с Меерхольдом, они забыли здоровый балаган, народный балаган ярмарок и площадей и они пробавляются шурум-бурумом średненького мещански-уютного театрика.

Что делать? Не это должно интересовать нас. Нас интересует—сколь сильно сказался на подмостках театра подлинный шпанский театр импровизаций, театр общих камер театр арестантских игр и забав. В них черты шпанского стремления в чистом своем виде не прикрашены литературно, не причесаны легковесной брошюркой.

Первое, что бросается в глаза на театре „своих" это его любовь к цыганщине и пляскам. Любит

петь с подковыром, молодцовато, с выкриком, выкрутасом, любит притопнуть такой чечеткой, что у новичка дух захватывает и любит ширь—разгул безудержный. У них свои романтические традиции: „Стеньки Разины“ и „Ланцовы“, „Сашки Семинаристы“, „Мрачные кровавые руки“ и лихие беглецы из надежных централов. Запоминается популярная шпанская интермедия. Названий эта интермедия имеет великое множество. Возьмем наиболее популярное: „Волга с рассказом“. Начинается интермедия со стихотворения Пушкина «Братья разбойники». Атаман говорит юноше разбойнику—«Нас было двое: брат и я». Шайка разбойников почтительно внимает. А атаман после реплики: „Эх, молодость (я, мол, стар)!“ читает прекрасные Пушкинские стихи. Прочитав, атаман орет:—„Есаул“! Подбегает есаул. Атаман дает ему двадцать пять целковых и предлагает затянуть песню.

Есаул затягивает песню с припевом. „Это правда, это правда, это правда все была“. Атаман предлагает:

„На тебе 25 рублей на водку,
Найди мне красную лодку“.

Расторопный есаул великолепно делает вид, что лодка доставлена. Затягивают волжскую песню. Атаман кричит есаулу:—„Полезай на рубку и смотри в трубку“.Есаул смотрит в подзорную трубку; что он видит:

— Остров!

— Причаливай!

Пение, пляска. Конец. Надо отдать справедливость—интермедия неподдельно-театральна. В камере в рваных одежонках эта пьеска звучит очень убедительно. Но—увы! Театральность пьесы идет за счет ее смысла. Налет „разбойной“ романтики—случайно уцелевшие традиции народного балагана—вот все достоинство этого произведения.

Ниже мы прилагаем репертуар примерного спектакля коллектива шпаны-„своих“. Спектакль идет в плане дешевого театра миниатюр и эстрады районной пивной. Герой спектакля конечно куплетист. В лихой кепке, в красном галстухе трафаретного апаша, развязный, нахальный, разбитной он-герой этой жадной до дешевого смеха публики. Шпана обожает куплетиста, в их глазах он носитель гражданственности, страдалец за „народные идеи“. Идеи специфические, шпане одной понятные и близкие, родные. Впрочем, почему одной шпане? Мы уже неоднократно говорили, что идеологическая закваска шпаны — это мещанство. От куплетиста требуется проникновение в это мещанское болото. Вот куплетист, повизгивая, поет о лысине, о любовном свидании и взрыв одобрения шумной ракетой врывается в зал. Куплетист „протягивает“ начальство, тут же кокетничая театральными лохмотьями общедоступного плаща гражданственности.

—Я, мол, и больше бы спел, да вот в карцер не хочется.

И эта „рискованость“ любимца публики нравится до исступления.

Страсть к куплетистам доходит до курьеза; стоит куплетисту выйдти на эстраду, и вздохом одобрения трепещет зал.

Мы наблюдали десятки представителей шпаны, обуреваемых этой «манией куплетизма». Они сидят по ночам на нарах, на грязном клочке бумаги «отчубучивают», «прохватывают» и «протягивают» у каждого такого куплетиста от нар группа поклонников и почитателей. В свободные от занятий часы эти своеобразные служители «парашной музы» пританцовывают чечеткой и выпевают форсисто свои „злободневные“ куплеты. И каждый такой служитель «парашной музы» мечтает, мучительно мечтает стать

настоящим, хотя бы в соловецких масштабах, эстрадным куплетистом.

Итак, куплетист—герой вечера. Прекрасное пение арестантских песен, старых каторжных песен, которые теряют в устах отдельного шпаненка весь крепкий аромат своей «каторжной романтики», которая в хоре этих странных людей расцветает и звучит неиз'яснимо хорошо, бодрое пение революционных песен современной формации—все это заслоняет лихая фигура в кепке, в красном галстухе и нарочито драных штанах фигура его, любимца шпанской публики «рискованного», «народного» сатирика-куплетиста.

ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА

ХОР

(поют все участники спектакля).

Мы уголовные, меж нас все ровные,
Идем дорогой трудовой,
И все должны мы, несокрушимо
Жить о свободе общею мечтой.

Мы держим верный путь, не покладая рук,
Бросая темным братьям свет
Нас освещает и просвещает
Наш Соловецкий Культпросвет.

Да здравствует Совет, мы шлем тебе привет
За красоту твоих идей,
Ты провинившихся и заблудившихся
Выводишь в честный круг людей —

Вперед, вперед, вперед, нас жизнь сама зовет,
На волю к жизни трудовой,
Нас клич в народе, там на заводе
Зовет мозолистой рукой. —

Братья лапотники

1. *Перед вами Соловчане*
2. *Здесь мы с братом выступаем*
1. *Первый раз мы збесь поем*
2. *Кой-кого пробереем,*
1. *Про себя споем сейчас,*
2. *Чтоб не серчали вы на нас.*
1. *Мы карманные дельцы,*
2. *Высланные из Москвы*
1. *Долго мы с вами воровали.*
2. *Соловки теперь узнали.*
1. *Нас прислали исправляться*
2. *И пора за нас-бы взяться*
1. *И скажу я Вам сейчас.*
2. *Здесь исправить могут нас,*
1. *Пройдет время дома быть,*
2. *Будем честным трудом жить.*
1. *Здесь не одних нас исправляют.*
2. *Сюда всяких высылают.*
1. *Здесь шпионы и попы,*
2. *А вон каэры, кулаки.*
1. *Есть сотрудники не вру*
2. *Кто провинился в Г. П. У.*
1. *Тут есть бабы всякий сброд.*
2. *Которы путали народ.*
1. *Наша ягода тут есть.*
2. *Кто помогает в карман лезть.*
1. *Есть каэрки, шпионаж.*
2. *Что красой пугают нас.*
1. *Еще есть такия крали,*
2. *Что на Невском нам моргали.*
1. *Ну довольно петь, брат, нам,*
2. *Не разойтись ли по домам,*
3. *Если ндравимся мы им*
Хлопнут раз и прибежим.

ИНСЦЕНИРОВКА

международное положение

участвуют Бенеш, Никол. Никол. Польский генерал. Рабочий и группа раб.

Бенеш

Нас скоро СССР совсем задушит,
Повсюду коммунизм растет.
А мы сидим, развесив уши,
А день за днем вперед идет,

Пойдем войной, пока не поздно,
Я помощь тайную подам,
Румыния пусть. крикнув грозно,
Заварит крупный тарарам.

Я не дождуся столкновений,
Прошло так множество недель,
Пойду войной по мановенью
На пролетарскую цитадель.

Ой мечты, мечты, мечты,
В вас так много красоты,
Ох мечты, да не сбыточны вы.
Чехословакия, я твой Бенеш

В моих мечтах есть красота,
Ты мне, Колюха, не изменишь.
В твоем кармане пустота.
Мы для того все сюда сошлися

Обдумать вместе план таков.
Все наши мысли занялися,
Как нам разбить большевиков.
Не долго думая, за дело

Нам надо братья поскорей.
На сердце много наболело
Боюсь беды в стране своей!
Ох мечты, мечты, мечты и т д.

Никол. Никол.

Услуги Вам свои я предлагаю,
Румыния об‘явит пусть войну,
Я врангельцев и сербов собираю
И на Союз стеной пойду.

Я Трифуновича Главкомом
назначаю
В распоряжение Разумовского все
отдам,
Косунского на помощь добавляю,
Приму участие и сам.

Между границ Румынии и Союзом
Терроризировать начну во всю
Союз.
Я ненависть питаю к синим
блузам,
Их ненавижу и боюсь.

Я подстрекательством по СССР
займуся,
Со мною князем весь народ пой-
дет,
Как до коммуны доберуся,
Никто спасенья не найдет,

Хотя победа будет не за нами,
Но плохо-ль будет нам от дележа,
Мы все останемся с деньгами
От денного грабежа.

Польский генерал

Вот что я сейчас скажу,
Идею лучшую, пожалуй, предложу,
Хочу маневры я начать,
Надо нам солдат к победам приу-
чать,

Мы голубым дадим хорошее снабже-
ние,
Будем красных осаждать да, да, да,
Вы дадите подкрепленье,
Тогда можно наступать.

Пусть и Ваша сила сдаст
Антанта моментально помощь даст
И этот тщательный маневр
Послужит нам за наш тот буду
щий шедевр.

Мы проведем маневр тот умело,
Наперед все будем знать, да, да, да,
Войну можно об'являть,

Рабочий

Много песен слыхал я в родной сто-
роне,
Песни, петые разным народом,
Но такой не слыхал, она нравит-
ся мне,
Это песня народной свободы.

Хор

Ой, свободушка наша!
Ничего тебя нет краше!
Иди вперед! зови народ!
К свободе!

Буржуазная власть на нас хочет
напасть
И пускает в ход хитрые штуки,
Но тот страх не велик и берутся
за штык
Пролетарские крепкие руки!

Хор

Ой, свободушке и т. д.

Светлый луч засиял, Интернационал
Раздается от края до края!
И настанет тот день, там, где мрачно, где тень,
Загорится звезда мировая,!

Хор

Ой, свободушка и т. д.

15 Сен. 1925 г.
КОЛ. „СВОИХ“

Хоровая декламация

Рабочий *Твердо стою я у власти,*
Спайкой рабочей силен.
Общей эмблемою счастья
Флаг С. С. С. Р. водружен.

Лозунг свободы с собою
Я угнетенным несу.
Все на земле перестрою!
Все на свой лад заведу!

Общая *Пусть не гаснет никогда*
Факел красного труда —
Пусть узнает вся земля!
Силу красного Кремля!

Крестьянин *Кончив с врагом совета*
Полной победой войну,
Верный коммуны завету,
Я возвратился к труду,

Сильной крестьянской рукою
Снова работать начну,
Снова хозяйство построю,
Миру пример покажу.

Общая *Пусть не гаснет никогда*
Факел красного труда!
Пусть увидят все пример
Трудовой семьи С. С. С. Р.

Комсомол *Как мировой буревестник,*
Всюду призыв прозвучал,
Юные гордые песни
Нам комсомол наш создал.

Молодость, сила и вера
Рабства разбили обман,
Голос для общего дела
Нам равноправием дал.

Общая *Пусть не гаснет никогда*
Факел красного труда!
Пусть всегда, всегда идет!
Молодежь всех стран вперед!

Спец *Старые бросив привычки,*
Вместе с рабочим иду.
Лишь при условиях смычки
В новую жизнь я войду.

Я приложу свое знание
К делу рабочей руки.
Общее самосознание
Нас с ним теснее сплотит.

Общая. *Пусть не гаснет никогда*
Факел красного труда!
Пусть все учатся у нас
Просвещению темных масс.

Рабоч *Мне не страшны фин-блокады*
Хитрых коварных врагов,
Помощи их мне не надо,
К бою всегда я готов.

Пусть же над миром сияет
Красная ярче звезда!
Нас всех в коммуны сливает
Крепкая смычка труда!

Общая *Пусть не гаснет никогда*
Факел красного труда!
Пусть узнает вся земля!
Силу красного Кремля!

Вор *Братья, я брат ваш заблудший,*
Был пролетарий, как и вы,
Жизни искал я получше,
Сбился с прямого пути

Братья, прошу вас, примите
Вновь в трудовую семью!
Вы постоянно твердите:
Труд искупает вину!

Рабочий *Все, кто раскаялся, снова*
К жизни свободной зову,
Труд искупает суровый
Вашу былую вину,

Если возметесь за дело
Прочим заблудшим в пример,
Братьями снова вас смело
Может назвать С. С. С. Р.

Общая *Пусть не гаснет никогда*
Факел красного труда!
Пусть узнает вся земля
Милость красного кремля!

ДЕКЛАМАЦИЯ

Коллективу „Своих“.

(От его членов, от‘езжающих на материк).

Пеоледние часы мы видим этот остров,
Последние часы мы в Коллективе,
Забыть его не так-то просто —
Нам дорог Коллектив отныне.

———

Для жизни нас негодными считали
И изолировали в глушь на острова,
Но мы ж своей работой доказали,
Что тоже ищем честного труда.

———

Конечно, с верного пути мы сбились
Так что же? Судьба тому виной,
Ведь ворами мы не родились.
Помочь нам... и пойдем иной тропой.

———

Пора настала... Нас зовут заводы,
Прощайте, едем мы на материк.
Ждем час, когда гудок на пароходе
Взглянуть на вас пеоледний раз велит.

———

Наста ет день и вы вослед за нами
Вернетесь в общество труда.
Поймите.. дело лишь за вами —
Давно нас всех зовут туда.

———

Тесней ряды, держитесь коллектива,
И масса вся за вами вслед пойдет
Пора сознать, что в Коллективе сила.
И Коллектив лишь верный путь найдет.

КУПЛЕТЫ

Вступительный моколог.

Мой костюм не внушает доверья,
Как под глазом подбитый синяк,
Но, поверьте вы мне, что не зверь я, —
Простота просто, Ванька чудак.

Я родился меж горя и пьянства,
Между темных, забитых людей;
Видел множество зверств и буянства
„Тяпнул“ я кой-что в жизни своей.

И теперь вот—преступник пред вами,
Только маску имеет шута;
Верно, знаете, други, вы сами, —
Монолог говорит не спроста.

Моя песня окончена, спета, —
Обеспечен „квартирой“ на срок,
Только нервная струнка задета
И я вспомнил средь этих невзгод

Про других, кто проступки свершает
В двести раз, может, хуже моих;
Кто под маской добра обирает
Без стеснения близких своих.

Вот поэтому я и волнуюсь...
А, да, впрочем, не мне их судить.
Будет время, — без нас их осудят,
А теперь буду вас веселить.

———

Здравствуйте

Хоть недавно я простился, —
Снова к вам, друзья, явился.
Из Москвы—столицы красной,
Я, как элемент опасный.
Выслан в древнюю обитель.
Мой привет, прошу, примите

Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте.

Все чекисты, анархисты,
Иерархи, монархисты,
Черносотенцы, буддисты,
А потом социалисты,
Шантажисты, аферисты,
С ними все рецидивисты

Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте.

Марки, доллары и кроны,
Зам. и Зам. Нач. Управ. Слона,
Нач. Хоз. части и Админа,
Также вместе с частью Фина,
ВПО, Нач. Экачасти,
Остальные, той же масти

Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте.

Все комроты, женбарак,
Также весь лагстаростат,
Симы, хамы, дамы, драмы,
Вычищающие ямы,
Все того, сего, мои,
Все чужие и „свои“

Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте.

Кухня, матушка родная,
Баня жаркая такая,
Все, кто нам белье стирает,
Обувает, одевает,
Освещает, отопляет,
И кто нас сюда ссылает.
Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте.

Весь надзор и все заводы,
Шмаровозы, греховоды,
И такая и сякая,
И печатная, стенная,
Хипы, хапы, хопы, стоп
И весь вместе взятый СОП
Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте.

Голгофа, Анзер, Исааки,
И Макарий, и Савватий,
Живоносный и несносный,
Кислородный, Купоросный,
И проборка и пробирка,
Остров Заячий, Секирка
Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте.

ГПУ, Отдел Юстиции,
Представители милиции,
Сборки, скидки и прикидки,
И добавки и накидки
2/4, 5/6
И 2/3,—но нет их
Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте.

Те, кого так долго ждали,
О ком день и ночь мечтали,
Кто в рядах первых сидит,
Кто судьбу нашу вершит,
Кто Комиссией зовется,
Мой привет особый шлется.
Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте,

Что сказать об остальных пьесах репертуара „своих»? На чем остановить внимание? Соловецкий коллектив «своих» очень молод. Еще не развернулись их возможности, но ясно одно:

— Здоровым началом коллектива придется выдержать огромную борьбу с той шпанской романтикой, родина которой бульварная скамейка, школа—темные залы площадного кино, достижения бульварная чечетка и пахнущие пивным перегаром и холкими папиросами захудалые плоские куплеты.

ИХ ЛИТЕРАТУРА

«Дохлый быт»

„Чем богаты, тем и рады“.
(пословица).

I.

Кроме приговора, каждый соловчанин привозит в концлагерь и свою сложную материальную жизнь.

Разобраться, прочесть эту жизнь в серых трудовых буднях лагеря—задача упоительно интересная.

А жизней тысяча. Каждая со своими страстями, страданиями и чаяниями.

Мы не можем смотреть на человека лишь через очки уголовного кодекса — сухие цифры статьи не исчерпывают многообразия переживаемого. Содержание соловецких переживаний чрезвычайно ценно. Это—особый мир, закрытый от взгляда даже внимательного наблюдателя.

Быт Соловков со временем будет достоянием истории.

Но что такое быт? Картины «житья-бытья». Зарисовки. Фото.

Конечно, это лишь материалы для изображения быта, сам же быт кроется в переживаниях и чувствованиях соловчанина.

Не ищите правды в „дружеских беседах“, не обольщайте себя надеждой поверхностными наблюдениями вскрыть эти переживания—нет: внимательный и строгий анализ психического строя обитателей лагеря, изучение индивидуальных жизней в до-лагерной, домашней обстановке—вот что может дать полную картину соловецкого быта. Я говорю в «до-лагерной обстановке» и подчеркиваю это.

Почему? Полагаю, что нельзя говорить о следствии, не затрагивая причин. Соловчане—„следствие» каких-то «причин».

Их соловецкое бытие определяется бытием на материке и напрасно мы бы пытались подойти к массам по-настоящему близко, если-бы мы стали изучать только соловецкую жизнь.

Нужно изучать индивидуально жизнь до-соловецкого периода. Но как? Есть-ли у нас об'ективные данные? Очень мало.

Мемуаров и дневников нет. Лагерь еще очень молод. Исторических материалов нет.

Остается литература. В литературном произведении запечатлевается подлинная жизнь соловчанина. Я говорю об уголовнике, и только о нем речь выше и ниже.

Среди «своих» есть литераторы и поэты.

И вот с их творчеством я и хочу познакомить читателя.

Остановимся для примера на троих.

Биография их сложна и бурна. Большинство из них знают географию России через железные решетки централов.

Один — с мыслями тяжелыми, как неотесанный булыжник, с образами неуклюжими и громоздкими, с темпераментом бурным, страстным, одинокий до тоски, угрюмый до мрачности, упорный, крепкий—он мыслит честно и прямолинейно, его мысли—это его желания, его желания — это его мысли.

Перо, что держит он в руке, тяжелее дубины и этой дубиной-пером он выводит корявые, но простые, как кирпичи, строки.

Темы его рассказов и повестей — это его насущные темы.

Он выводит огромный крючек вопроса и требует его разрешения.

Он обидчив до жестокости, он жесток до отчаяния. Он не «поет», он воет. И в его рассказах режется настоящая правда матка. Вот предо мною его незатейливая повесть «Кто виноват»?

Девушку Зину бедные родители пристроили прислугой к одному чиновнику. Чиновник овладевает девушкой. В ужасе она бежит из его дома куда глаза глядят. Вот она у Иверской часовни

Встреча с какой-то «тетенькой». Тетенька зовет Зину к себе: «где-нибудь, мол, пристрою».

Зина идет. Все ново Зине. И нарумяненные женщины, среди которых идет она с тетенькой, и охальные парни, и, наконец, «странная группа женщин», мимо которых они проходили, смотрели им вслед и, когда они скрылись в зияющей пасти двора одна из женщин говорила:

— Опять Аржачка девку тащит...

— В нашем полку прибыло,—говорила другая.

И вся группа засмеялась каким-то истеричным смехом, похожим скорее на плач.

Тетенька оказалась сводней. А Зина очутилась на Хитровке и потянулся жестокий хитровский быт...

— Здравствуй, „Хитровка", дом Кулаков,
Румянцев, Ярошенков и бывший Орлов,
Брыкова харчевка, Дерюгин ресторан,
Кунякина пырка и общий балаган.

Аржачка приводит Зину к обрюзгшей женщине — Марии Егоровне и продает ее.

Пошли «гости»—вино—туман—бред—эта тяжелая проституточная жизнь Зины. Зина стала проституткой. Подружка подвернулась и с нею кокаин.

— Ну, ты дай мне зарядить.

— Ну, заряжай скорей, да пошли.

«... Зина зарядила. Какая-то приятная истома протекла по ее телу, в носу что-то захолодило и защекотало, что-то приятное ласкало ее, она помимо своей воли внюхивала в себя воздух, подергивая при этом носом».

Началась жизнь с кокаином.

Зина стала «работать» в одиночку. Поселилась она в «Сухом овраге» (один из трех домов Кулакова). Там она сиживала на нарах и нюхала.

Порошок за порошком летел в нос. Зине было весело, она чувствовала себя счастливой, но временами ей казалось, что на нее кто-то сердится и хочет с ней расправиться и, чем больше она нюхала, тем яснее казалось ей. Она забилась под нары и там, там пугливо озираясь, продолжала нюхать».

И в этом кошмаре мелькнула кошмарная-же любовь. Она знакомится с Мишкой сапожником.

Вот как завязывается узел романа:

— «Иди-ка, «барышня», выпей с нами»,—проговорил сапожник, приглашая Зину. «Мне-бы зарядить,—ответила, подходя, Зина,—а то голова болит».

«... Сапожник взял из-за голенища кокаин и подал ей.

— Только вперед перебей, похмелись, потом нюхай,—добавил он.

— Да вы валяйте вперед под нары, а потом и выпьем, и понюхаем,—посоветовали товарищи.

Сапожник, обняв руками Зину, отошел к сторонке и, покачнувшись, исчез под нарами. Вместе с ним исчезла и Зина.

— Ты смотри, чтобы сегодня никуда не ходить. Я скоро приду, тогда пойдем спать, — проговорил сапожник, вылезая из под нар»...

Через три часа Зина в новых башмаках сидела с сапожником—это были уже муж и жена.

«... Началась семейная жизнь. Семья! т. е. побои вора Мишки, водка и марафет, угар „Юра"—ах, бегите проклятые дни»...

Семейное счастье кончается трагически.

Обход в перестрелке убивает Мишку, а Зина бросилась бежать.

"Затыркалась девка, бормотали ей вслед хитрованцы, а Зина бежала и нигде не могла укрыться от мании. Подбежав к набережной Москвы-реки, она перелезла через перила и бросилась в реку"....

Конец. Мрачно. Жестоко.

Безысходная тоска.

Грязные ямы зловонных квартир, пустота выпотрошенных жизней, проститутки и воры, грязь и смрад, матерная ругань, песельники и водка,—виноват,—чем богаты, тем и рады.

Не посетуйте на автора—его пером водила правда.

И вот эту отчаянную харю проклятого быта носят в себе люди, шныряющие по лагерю после работ, поющие заунывные песни на репетициях своих, работающие на огороде девушки с грустными глазами и бранью на устах.

Автор ничего не прибавил.

Он сказал все, что мог.

Не ярко?

Простите, он учился не в литературной студии им. Брюсова, а в кабаке, учителя его были не профессора, а старая сволочь—Хитровка.

II.

Вот и другой. Глаза с лукавинкой—тертый калач.

Перо у него легкое, пожалуй черезчур легкое, и пишет он непосредственно, как первый. Этот почитывал, знает многое, зуб-парень, но в том, что он знает много, и есть его слабость.

Поэтому его проза манерна той манерностью, которой полны бесчисленные рукописи редакционных корзинок.

Вот, она—его повесть: „без заглавия".

Повесть из «тюремной» жизни. Тема исключительно интересная, но, к несчастью, автор настоящей тырьмы дал очень немного.

Вот утро тюрьмы:

«Зимнее утро. Блестят на стеклах тюремных окон освещенные электрическим светом узоры. Уныло прозвучал удар колокола, приглашая заключенных на работы.

Запестрели на тюремном дворе человеческие фигуры в серых бушлатах, козловых полушубках.

Закипела рабочая жизнь в мастерских,

Застучали станки, затрещали швейные машины, забегали в ткацких станках челноки, запищали пилы, разрезая толстые бревна, зазвенело железо, рассыпая огненные брызги под ударами тяжелого молота....

Такова картина советской тюрьмы, картина, написанная пером заключенного.

Автор—поэт, его описания живы и выразительны, но его фабула и герои картонные, нежизненны и ходульны.

Вот, герой этой повести—Травкин идет в Вятский Губсуд, чтобы получить досрочное.

Травкин в зале суда.

„Посредине зала, ближе к стене, большой, покрытый красным сукном стол, а на стене над столом портрет Ильича, его глаза бросают взгляд на стол, он как бы следит за ходом суда“.

Травкин болен чахоткой, грезит он и мыслит только о свободе.

Начинается суд. Травкину отказывают в досрочном освобождении, он снова в тюрьме.

Проходят месяцы. За решеткой весна. Травкин уже в больнице.

Он пишет стихи.

Весна, весна, как ты красива,
Как радостно встречают все тебя,
С тобой шутя, бегут игриво
Ручьи, на солнышке шумят.

И дальше:

О, как-же я тебя ревную
За красоту твою, весна,
Хотя люблю, но не могу я
В любви признаться из окна...

Автор заставляет поразительно быстро умереть своего героя от чахотки, моментально на его могиле

вырастают ивы, которые, конечно, поют заунывную песнь и на могилу ходит плакать девушка в белом платке.

В чем соль рассказа? В чем драма Травкина?

Травкин работал в Исправдоме, „исправлялся“: но суровый закон не внял его просьбе и стены тюрьмы загубили его.

Рассказ сух, никчемно слезлив.

Чья вина? Не автора.

Он честно хотел писать эту драму, но его голова была доверху набита дешевыми строчками бульварных романов. Они, эти строчки, отравили его творчество и нужна серьезная творческая работа, что бы он стал прочно на ноги.

Только вначале повести, где списывается новая тюрьма, автор был на страже нового быта—в остальном он оперировал образами дохлого быта давно прочитанных и замусоленных романов.

III.

Третий писатель, описывающий интересующий нас мир уголовников—сорокадевятник, с большим душком «интеллигентности». Он и Барбье Д'Орвильи читывал и платочек, если не шипром, то одеколонцем „Жиркости“ обрызгивал. Он знает, где эстетические раки зимуют.

И много,—ах много у него романтики в стиле папиросных реклам. Но за этим запасиком — строчки быта и мы их не без удовольствия демонстрируем.

Вот как рисуется дохлый быт пером этого автора: приведем отрывки из его повести «Малахольный барин»:

«Душно и смрадно.

Гул голосов, как улей гигантский.

Сизый туман испарений и дыма табачного.

Плачут слезами холодными серые стены осклизлые.

Бликами грязными лица рисуются в тусклом мерцании света. Клубнем слилися с трепьями грязными.

Льется гундосо жаргон, как гной сифилитика клейкий, зловонный...

Жизнью особой клокочет чайнушка Хитровская.

За одним из столов угрюмые и пьяные лица барыг и дешевыми красками лица их дам-проституток.

— Эй, „малахольный барин", поди-ка сюда, тисни про «юр» нам, заправь гондольеру!

Услужливо „песельник" скинул шинель, грязными клочьями тело сквозь рвань засветило.

Румянцев дом вы знаете,
Наверное, друзья.
И часто там бываете,
Бываю там и я.
Там много люду разного
Оборванного, гвязного.
Когда-то там скитались и князья.

Хрипом голоса застуженного выводит «малахольный барин».

Бренчит балалайка, притоптывают ноги закоченелые.

Все громче гуденье чайнушки, все гуще туман над столами, все пьяней, все озорнее люди.

— Эй „барин", на пирог!—окликает малый с лукавым лицом.

Тянется за куском „барин" голодный.

Резкпй толчек,—летит он к стене.

— Куда лезешь, сволочь, я сам пироги хорошо ем.

Дружным хохотом охальным встречена шутка.

Надоели заказчикам песни знакомые—пара монет загремела в руке „песельника".

Горячий чай с баранками или порошок?

Вот вопрос сложнее, чем жизнь!

Нет,—порошек лучше!..

Дрожа и кутаясь в шинелку, бежит посиневший „барин" через темный, зловещий дом Орловки, забирая худыми ботинками снег, как огонь горячий.

Бежит к тете Тане за забвеньем, за белыми кристаллами в лощеной бумажке...

Мрачный номер, вонючий.

Темные полувековые нары, заваленные вшивым тряпьем.

Сколько горя и болезней человеческих в этих грязных отрепьях!

В углу за розовой, ситцевой занавеской высокая в рост человека постель тети Тани. Пуховые подушки. В изголовьи божья матерь с лампадой.

Дрожащими руками взял «барин» порошок драгоценный, да еще прикрикнула тетя Таня, наморщив высокий лоб над хищным носом и умными, злыми глазами:

— Ты что-же долго не несешь?, все завтра, да завтра! вот, погоди, я с тобой по другому сочтусь! Да ты не устраивайся, все равно выгоню!..

Страшно, больно идти на улицу, где стужа и вьюга.

Присел зарядить «втихую» у печки, незамеченным сладко пригрелся, уснул...

Проснулся внезапно от шума.

В сумраке номера незнакомка какая-то. Из под шляпы широкой алые губы накрашенные и черные глаза. Белые боты, пальто опушенное мехом.

— Из города за товаром,—подсказывает смутное полусознание.

Целует тетя Таня незнакомку, Лелей называет, на постель предлагает присесть.

Берет незнакомка груду порошков, сложенных по пять, достает из-за чулка, высоко задрав модную юбку, пачку бумажек шуршащих и еще пачка там остается.

Встает перед глазами номер такой-же, занюханный «Петька Губа», Лелька побитая, жалкая, где-то за печкой рыдает...

Петькину Лельку узнал в незнакомке. Быстро шагнул ей навстречу.

Тяжко дышали спящие люди.

Только бред кошмарный или шуршанье бумажками симуляторов ночных нарушало тишь однозвучную.

Спала на постели высокой тетя Таня и таинственно синяя мерцала лампадка над богородицей.

В ярком возбуждении кокаина Лелька Антсяу о своей карьере рассказывала.

«Гуляет» она на Тверской, живет с «Сашкой Зубком» из Грузин. Живет хорошо—не как с Петькой. У того из «фингалок» не выходила...

„Петька, как освободился, две недели гулял—по новой зачалился. Теперь в Ярославле, в Коровниках качается—трешницу имеет. Хоть-бы не приезжал подольше, еще волынку затрет... Ну, а вы как? Как эта—ваша-то»?

Повесть „Улыбающая вошь"—настолько характерное описание безысходной жизни шпаны, что я считаю необходимым привести ее полностью. Лицо «дохлого быта» здесь встает во всей своей отвратитетельной красе.

Вот она, эта повесть:

„Улыбающая вошь".

Плюется ресторан в шелк, меха и ажур разодетыми женщинами и мужчинами, забывшими близ тела женского о бирже, каратах, червонцах и трестах.

Хмельные и задорные звучат слова и шутки грязные и липнут к моим осенним тягучим мыслям — и еще тяжелее от них.

Прочь отсюда! Прочь в тихий шелест бульвара! Там под вздохи листвы багряно-золотистой в сладостной жути кокаина унесусь я в высь загадочного неба,—унесусь один со своей осенней тоскою!..

Но шепчутся где-то близко-близко, не то за уродом-кустом, не то в аллейке соседней и звучит из-за железной ограды приторно-пошло и жутко-знакомо:

Тебя я в губки целовала
И называла—милый мой.

Двое сели напротив и бьет по нервам трусливый шопот мужчины и женский гнусавый говорок.

Встаю и иду в Рваный. Там у Сережки Бычкова в душной, низкой каморке, с образами и лампадками над кроватью матери его,—там в полумраке я получу, что мне нужно и отдохну от лиц ночных, искаженных. И гул столичный заменит тихий шопот кажущийся, вздохами спящей старухи перемежаемый . . .

. . . .

— Вовка, куда?

Передо мной намалеванное женское лицо. Нет, скорее все-таки, личико. Когда-то оно было очень привлекательно, теперь истаскалось и поблекло. Одета с претензией на шик, но пальто измято случайным ночлегом и вся она отмечена мелкой небрежностью.

„Ты к Сережке? Не ходи,—там легавые!“

Подаюсь в сводчатые ворота,—она продолжает: „Хотя я давно была. Я сбегаю, посиди здесь!“ И указывает на развалины дома напротив.

„Ты скорее, Липка!“—„Посидм,—я сейчас!“

Иду и сажусь в тень на плиты случайно уцелевшего крыльца. Среди кирпичей замечаю фигурку, сжатую комочком в холодке осеннем. Жду...

„Мальчик, пойдем побалуемся“, звучит низкий, грудной голос.

Два силуэта проплыли во мраке.

Вот они у фонаря—он в тени, она лицом к свету и ко мне.

Сразу поражает изящная фигурка, одетая модно и со вкусом. Из-под большой шляпы блестят глубокие, темные глаза.

Не слышу, что отвечает мужчина.

„На время — пять, на ночь — полтора червяка!“ И они тонут во мраке, уторапливая шаги. Сзади кто-то завозился и забормотал. Я вздрогнул. Ах! Это жалкий комочек в тени, наверное какой-нибудь занюханный оголец с бана.

Вот женщина снова появилась в луче. Она идет, слегка раскачивая бедрами и напевая:

Миг и кончено все!.. Лишь алеет
Джона кровь у Нинон на ногах.

Ближе... Вот серые высокие ботинки из-под меха пальто... Вот лицо — бледный правильный профиль, яркие, очень красивые губы и жуткая загадка бархатных глаз.

Быстро прошла во мрак развалки. Стала у тела, сжатого комочком.

„Эй ты... Улыбающая вошь! Ну-ка сбегай под Первый, да живо!“ И матом охальным приправила. Пнула ногой.

Я приподнялся, чтобы лицезреть «Улыбающую вошь». Покатился кирпич.

Быстро обернулась. Сверкнула глазами.

«Простите, я не заметила»... Повела бедрами, слегка закинула бледное печальное лицо. Улыбалась во мраке.

И облако мимолетное наплыло. До жути захотелось этой изящной красивой самки...

«Вовка, Вовк, ну что-ж ты симулируешь? Иди— можно!» Стояло рядом Либка. Взглядом враждебным мерила незнакомку.

Та стала закуривать, поблескивая глазами в мою сторону.

«Простите, можно мне с вами?»..—глухо прозвучало сзади.

Жался в сумраке человечек роста ниже среднего. Это был—«Улыбающая вошь!»

Кривые ноги, руки, как щупальцы, нескладное туловище и, наконец, огромная бритая голова с оттопыренными ушами поражали безобразием. Лицо широкое и улыбчатое, а на нем подслеповатые глазки, остренький, на гвоздь похожий, носик и рыжие усы, беспрестанно шевелящиеся.

Удивительно метко: «Улыбающая вошь!» Да, именно так и никак иначе!

„Простите!"...—повторил он, испуганно озираясь, и забавно мигая, подвинулся к свету.

Одет он был бедно, но опрятно.

„Странный тип!" подумалось мне.

„Поди сюда, сволочь!" злобно рванула женщина.

Он спрятался за меня и повторил робко:

«Простите!»

Смачно выругалась, подозвала Липку.

Шептались, поглядывали на меня.

Жался человечек в ознобе ночном. Ждал чего-то, моргая печально.

«Возьми его—он безвредный!» крикнула Липка, переходя мостовую.

«Что она говорила?» спросил я тихо.

Усмехнулась Липка.

«За фрея тебя приняла! Грачей дармовых ищет...» и злобно матерщиной слобрила.

Я оглянулся: женщина, замедляя шаги, улыбалась издали.

„Изуродует она тебя ужо, как бог черепаху!" процедила Липка, обращаясь к странному нашему спутнику.

Вот узкий вонючий двор, железные перила лестницы, скользкая площадка и, наконец, душная каморка, где над лампадой образ Христа, а под Христом марафетный склад в тайнике.

Мать Сережина сначала хотела выгнать моего нового знакомца, но увидив, что я с «фартом» и «за-

гибаюсь от вольного», смягчилась и коситься на него перестала.

„Улыбающая вошь“ наблюдал за мной. Молча слепенькими глазками моргал. Липка расположилась, как дома, трещала без умолку и через клейкий окровавленный мундштук „втыкала от лармового“.

Через час мы с новым знакомцем опять вышли в осеннюю ночь безглазую. Потухли фонари,—было больше трех часов.

Еще слонялись по Рваному занюханные девки в поисках ночного рубля. «Удар—два порошка!»—кричало из их вылупившихся, затуманенных глаз.

Где-то на бульваре пьяные фраера орали задорно и, трусливо и похабно вопили проститутки.

На досчатой стене шевелились плакаты с яркими буквами—будто сказать что-то хотели.

А черная ночь стояла над звенящим городом, как гигантский безмолвный вопрос, и хотелось крикнуть в небо: «Зачем ты грозишь?»...

Идем осклизкими дорожками и бульвар обнимает ознобом осенним.

Звонят часы монотонно на башне Кремлевской и звук их в тиши звенящей странен,—странен, как черное тело негра на фоне покрова белоснежного.

И мы слушаем жуть бесконечную.

Мы познакомились.

Звали его Алексей Иванович Лепенкин. Говорил он тихо, немного хриповато.

Узнал я, что он сын рабочего литейщика Сам по профессии портной. От роду ему двадцать четыре года.

Когда-же разговор коснулся встречи в развалке, он сначала замялся, а потом с внезапной решимостью выпалил: «Это, видите, жена моя...»

«То-есть, как жена?»

«Ну, конечно, не совсем жена»., засуетился он: «но, понимаете....» и окончательно сконфузился.

Я был поражен. Что за странная парочка? Что за тайна под их отношениями? Почему сжавшись комочком меж кирпичей развалки? И почему, наконец, презрительное—«Улыбающая вошь?»

Он так расстроился, что я невольно оборвал разговор. И молча глядел он сквозь шапки облезлых деревьев в загадочное темное небо.

Когда из тьмы появились первые белые клочья денные и усилился знобящий холодок, мы пожали друг другу руки. . . . .

. . . .

Через два дня на той же грачевке около грязной шашлычной окликнул я Липку. В сумраке вечернем стояла она на мостовой около торговок и пожирала какие-то сласти, причмокивая накрашенными губами. Тусклым взглядом мерила встречных мужчин, усталая и безразличная.

На мои распросы отвечала неохотно. — Вот что я узнал:

„Жену“ моего нового приятеля зовут «Зойкой.» Но это «липа», а по настоящему—„Катька“ она.

-- „Фамилия?—А черт ее знает! Кличка вот есть: «Балерина» — «Зойка Балерина.» Еще узнал я, что живут они в комнате близ Петровских ворот. Туда она по ночам фраеров водит.

Он отдает ей весь свой заработок, готов исполнять ее малейшее желание, а она издевается над ним, часто даже из дому выгоняет.

И опять ночью бродил я по переулкам близ Трубной и по Цветному. И мне самому было непонятно, почему я искал жутких глаз из-под больших полей и изящной фигурки.

Я люблю ночную Москву, как ласковую мать — подругу с бледным лицом страданья и наслажденья.

Я люблю бродить ночью один без цели, со своими тяжелыми осенними думами, — один по чахлым

московским бульварам, узким переулочкам, огромным, пыльным площадям.

Я люблю утренний сор неподметенных улиц, сонные лица, первых прохожих.

Темная загадка — ночь и белый порошок — мои друзья. . . . .

. . . .

Вскоре у меня произошли кое-какие неприятности с Муур'ом и мне временно пришлось скрываться. Я перестал бывать на Трубной.

Забылась изящная «Балерина», забылась неуклюжая «Улыбающая вошь».

После встречал я их не раз в районе Цветного и Петровки. С ним я здоровался, а от нее, как по норме, получал безмолвную зовущую улыбку.

Но оба они стали мне безразличны и совсем не думалось об этой странной парочке. . . . .

. . . .

Пьяный угар стоит в небольшом помещении, где на нарах теснится человек тридцать разношерстной публики. Визгливо орет гармошка и хриплыми голосами вторят ей такт. Пляшет занюханный «Сявка Кирпич», лихо выделывая босыми ногами причудливые па. А в углу около торговки кокаином—старой проститутки Шурки—дым коромыслом. Жадные страдальческие взгляды плетутся вокруг большого кошелька, наполненного порошками драгоценнее жизни.

И лается Шурка похабно и гундосо, отгоняя назойливых симуляторов.

Рядом с занюханными малыш в одних кальсонах, без рубашки, с диким взором и стиснутыми челюстями, сидит—подвыпивший Лепенкин. Носик его покраснел, лицо стало еще улыбчатее. Он беспрестанно икает и громогласно ораторствует о разнице между жакетом и визиткой. Угощается голь хитровская—«калечит» загулявшего „фраера“.

Сквозь сизый туман махорки и мата под тусклой лампочкой стоит непомерно жирная хозяйка с тупым обрюзгшим лицом и уговаривает растрепанную девицу ехать домой.

Плачет занюханная девица и предлагает в заклад полосатую нижнюю юбку и ножницы для маникюра. И гогочут охальные девки ненужности этих ножниц и беспомощности жалкой девицы.

Резко взвизгнула низкая дверь и вбежала «Балерина» в открытом шелковом платье с ярким платком через плечо.

Разметались ее черные кудри, весело сверкают бархатные глаза и вызывающе—руки в бок, откинув бледную, красивую голову:

«А ну, кто угостит?»

Подхожу и протягиваю только что раепечатанный грамм.

Улыбается мне, нежданному, весело и знакомо. Сразу сближаемся и жутко понятными делаемся друг-другу.

И в весельи угарном лихо бросает гармонисту усталому: «Плешкин, жарь любимую, я плачу!»

Змеей изгибается, доставая из-за ажура чулка шуршащую бумажку. Дразнит стройной ногой и кружевом белья.

И снова поднимается жуть сладострастная и снова хочется тела в об'ятьях пьянящих.

Насилует гармошку Плешкин одурелый, льются заунывные звуки:

Лишь только в Сибири займется заря...

Хрипло подпевает «Сявка Кирпич» знакомые, камнями централов отдающие слова.

Арестантов считает фельдфебель седой,
По военному строит во взводы.

Сладко ластится Зоя, об'ятиями пьяными туманит. Близко, близко на щеке ее дыхание горячее...

«Зойка, не смей, б....!» и две руки впились в наши плечи.

Изумленная вскакивает она на средину номера и злобно шипит ее голос: «Ты что, сволочь, ошалел!»

"Молчи, стерва!" вопит он, сжимая кулаки и наступая.

Жестокие искры замелькали в глазах, губы сжались плотно и хлесткая пощечина впилась в его белую щеку.

Он покачнулся—не сдержали пьяные ноги—и с неожиданным воплем —«зарежу!» свалился на колени, вылупив осовелые глаза.

Она рванулась и несколько раз пнула ногой в лицо.

Похабно хохотали обитатели Румянцева и беспомощно рыдал "Улыбающая вошь" жалкий и прибитый.

Гадкий зловонный туман окутал площадь Хитрова и мрачно чернел на фоне его огромный балаган.

Где-то надтреснутый женский голос, не прерываясь, вопил: "милиционер, милиционер, милиционер"!.. И далеко на горке у комиссариата пищали резкие свистки.

Снял кепку—осенняя сырость упала на ошалелую голову...

Через несколько минут подошла Зоя и, криво усмехнувшись в сторону, взяла под руку.

Сладко прижалась...

. . . .

Прошло восемь месяцев.

Весеннее солнце радостно глядело сквозь подвальные окна пересылки в Н-ской ценральной тюрьме.

Я шел этапом в Москву из города К., куда на меня был дан розыск по старому, дурацкому, никому не нужному делу.

Однажды на пересылку пришла партия из Москвы.

Каково-же было мое изумление, когда среди прибывших увидал я «Улыбающую вошь», похудевшего,

оборваннаго, в огромных ботинках,—пальцы наружу, и грязном, вонючем полушубке.

Я устроил его на койку и за кружкой арестантского чая он рассказал мне свою историю.

Она издевалась над ним все больше и больше. Обращалась как с использованной, ненужной вещью, Доходило до того, что заставляла стирать свое белье. говоря, что только на это он и способен. Спуталась с хорошо знакомым мне вором с Домниковки "Лешкой Красивым„.

Он ужасно страдал, но все терпел, лишь бы не расставаться с ней.

Наконец не выдержал—решил доказать, что он тоже человек, что и он, как «Красивый», способен добыть деньги, необходимые ей для пивных и притонов.

Глубокой осенью, когда падал первый снег и хлестал в лицо резкий ветер, он пошел на кражу.

Дело было не крупное, но довольно рискованное работники собрались не опытные и, конечно, попались.

Их судили и, принимая во внимание несудимость в прошлом и пролетарское происхождение Липенкина, дали ему год содержания под стражей.

Тяжело приходилось робкому, смешному «фраеру» в тюрьме. Его "разыгрывали„ и проделывали над ним грязные арестантские шутки. Когда я не поспевал во время на выручку, он, как загнанный зверек, забивался под койку и бесконечно жалка была его сжатая в комок фигурка.

Через три дня меня отправили в Москву, а «Вошь» остался ожидать этапа в далекий исправдом.

. . . .

Мигает лампадка и уродливо корчится Христос над постелью матери Сережкиной.

В синем полумраке за столом, накрытом скатертью с красными петухами, сидим трое: сам Сережка опухший и сонный, я и босая Липка.

За бутылкой портвейна и распечатанной граммовкой „мерковского“ она рассказала мне конец истории.

Совсем закружилась Зойка. Крепко захватила «Лешку Красивого», что в конец он голову потерял, стал делать отчаянные кражи, лишь-бы вся она была его, лишь-бы все, что захочет, имела.

Уехал он на три дня в провинцию—крупное дело было. А как вернулся, узнал, что все те три ночи спала и нюхала Зойка с знакомым барышником.

В припадке ревности в пивной зарезал Лешка красавицу «Балерину»; хотел и барышника пырнуть, да тот смыться успел.

Недавно «Улыбающая вошь» вернулся. Калинин в свой приезд освободил досрочно.

Вернулся и, как узнал, что зарезали „Балерину“, сам не свой стал. Занюхался, засимулировался в доску. На-днях на Пречистенку в психиатрическую отправили.

Видно, там и останется — совсем у него помутилось, только она ему и мерещится. День и ночь не спит, ее зовет.

И снова ночью осенней шли мы по Цветному. Провожала меня Липка к трамвайной остановке.

Снова гудела далеко столица ночная.

Снова печально мигали фонари в тумане белесом.

Снова весело окликали знакомые проститутки и торопливо сторонились фраера, заслышав мат наш привычный.

Вдруг Липка тревожно уставилась в одну точку. У железной решетки бульвара с безразличным, тупым выражением не от мира сего стоял «Улыбающая вошь» и на фоне темного бульвара жутко бледнело лицо, обрамленное клочьями белобрысых волос.

Я двинулся к нему, но вдали загремел последний трамвай, вспомнилось дело, от которого судьба товарища зависела, и я бросился через площадь догонять трамвай, оставив „Улыбающую вошь“.

Как призрак осенний, мелькнул он в тумане.

Хотел на другой же день отыскать его, но не пришлось. И потянулись серые осенние дни, иногда полные жути напряженной, иногда полные тоски щемящей и опять потонул в белом мареве ночи столичной „Улыбающая вошь“.

. . . .

Гудит голосами человеческими огромное помещение и копошатся люди в тумане, как вши.

Взгляд жуткий, страдальческий из темного угла поражает меня. И чем-то знакомым тянет к этому взгляду.

Подобрав ноги калачиком с котелком из английской консервной банки в руках сидит на нарах «Улыбающая вошь», облизывая с грязной деревянной ложки остатки пищи, тупо смотрит в глаза мне и не узнает.

Он тоже здесь!

Как паразитический элемент, неисправимый кокаинист и попрошайка выслан он по 49 ст. на остров дальний.

Обитатели одиннадцатой роты зовут его «малахольным» или еще иначе — более метко, но совсем нецензурно. Но и сейчас он «Улыбающая вошь» и именно «Улыбающая вошь», а никак иначе.

Он беспрекословно выполняет все возложенные на него работы и требования администрации, всегда молчит, а в свободное от работ время почти не слезает с нар, жалкий и ничтожный.

. . . .

Не спится.

За окнами темная ночь соловецкая.

Плачется осень, липнет к стеклам слезливым, жутью грозит.

Растет, надвигается кругом огромным бледное пятно света. Призраком смеется в кошмаре белесом.

Тянутся волокнами клочья волос белобрысых.

Пляшут улыбкой в диковинном танце, кривляются остренький носик и глазки незрячие.

Ширится, близится круг золотисто-туманный.

Душит, томит и гнетет.

Призраком грозным стоит в изголовьи огромная „Улыбающая вошь“ пошлая и слякотная...

И вся-то жизнь пошлая и слякотная и ненужная, как «Улыбающая вошь!»

А вот поэма:

Ее сердце.

Он собирается.
Сердце тревогу ударами бьет
Тихо.
Медленно стрелка часов подвигается,
Скрипнула дверь
Вот!
Идет!
Светел, спокоен,
Только в глаза мне не может взглянуть.
„Я ухожу не надолго,
Может, совсем ночевать не вернусь“.
Встала невольно.
Горло сжимают стальные тиски,
Жутко и больно,
На сердце камень тоски.
Милый, любимый,
Знаю куда ты идешь,
Знаю какую работку
Ночкой ты темной найдешь.
Милый, останься,
Не нужны мне деньги!
Страстно любимый,
Останься, прошу!
Мрачно взглянул,
Постоял, затянулся.
Буркнул мне что-то в ответ...

Милый уходит. Женщина ждет до утра. Его нет. Она решается:

Еду,
Повсюду справляюсь,
Его в отделениях нет.
Вот Гнездниковский:
МУУР
Тот же ответ восклицает...

Словом умирает милый, и подруга:

Пусто, тоскливо,
Все мне постыло,
Я не хочу больше жить.

Вот эти последние строчки я мог бы поставить эпиграфом ко всей главе.

В этой атмосфере разгула и подлинного одиночества—пусто и тоскливо.

Поэт нарисовал довольно живо картинку семейного быта и не из-за отвращения к воровству, а именно, от этой пустоты и постылости тошнота движется к горлу. Разве не здесь, в этих чайных и пивных, отчаяние и тоска?

Вот повесть в стихах:

Конец.

В ночной чайной на Мещанской,
Где мерцает тусклый свет,
Круг сбирается жиганский
И царит там марафет.
Серы стены, низки своды,
Стойки, клейкие столы.
Узки грязные проходы,
Окна битые малы.
Запах сала, пудры, пота,
Душный воздух и угар,
Посетителей вид сброда,
Резкий говор, лиц пожар.

Такова обстановка жизни этих юношей. И на фоне этой обстановки жуткая, как разгул, любовь.

Льется кровь в отабаченном зале, шуршат порошки марафета, плачут бессмысленными, пьяными слезами усталые глаза—мысли чадные, как дым, дым тяжелый, как скорбные мысли. Это ли не конец?

Он кидался в преступленья,
На безумный риск он шел
И в любви успокоенье—
Смерть от пули он нашел.

Чем вам не „рыцарь бедный“ шпанской формации?

Но не в пуле конец Далеко не в пуле. Пуля это что? — успокоение.

Пусто, тоскливо,
Все мне постыло.
Я не хочу больше жить...

Пьяного сапожника Мишку убил обход. Зина от марафета бросилась в реку Москву, чахнет и мрет от чахотки в тюрьме Травкин, гибнут эти «Лельки», „Улыбающие вши“ и кто виноват, что это конец?

А это конец... Не жизнь-же?

«И вся то жизнь пошлая и слякотная и ненужная, как «Улыбающая вошь».

Вот перед нами еще кусок их жизни:

Утро.

„... Тускло серое осеннее утро. Как-бы украдкой, сквозь прояснившееся небо, бросает лучи солнце, заглядывая в окна домов.

Уныло стоят дома, припоминая прошедшее"...

Утро сделано по образу и подобию своему.

„Но вот в одном низком, мрачном доме отдернулась занавеска. Ворвавшийся луч солнца осветил молодую женщину с желто-зеленоватым цветом лица, тупым взглядом. Лицо ее выражало страданье“...

Это образ «ее». А вот и «он».

„Лишь только что дверь захлопнулась за ушедшей женщиной, лежащий открыл глаза, окинув красно-воспаленными глазами комнату, он стал припоминать о вчерашнем. Голова его не работала—„похмелиться-бы ,—прошептал он, закрывая глаза“.

Утро началось...

„Пристально взглянув на спящего, она торопливо слазила за чулок и стала развертывать порошок. Спящий открыл глаза. Женщина вздрогнула.

— Опять нюхаешь, сволочь? Сейчас я тебе понюхаю,—проговорил хриплым голосом, вскакивая с постели, мужчина.

Сильным ударом он сбил ее с ног и начал наносить удар за ударом, приговаривая: «нюхай, нюхай, нюходерка проклятая». Женщина, как мяч, каталась по полу, дико взвизгивала, защищая руками лицо от его ударов, но вот она затихла, лишь слабый стон вылетел из ее груди»...

Да. Немудрено, что и утро тускло, и дома задумались, и желто-зеленоватый цвет лица у героев этой повести.

Ведь и у автора такая тоска и безысходность.

„Тихо колышатся, низко склонившись над могилами, плакучие ивы, тронутые теплым ветерком.

Ярко пестреют цветы за могильными оградами. На коленях перед новой могилой стоит, обливаясь слезами, девушка, она посетила могилу своего брата, умершего в 1922 году в больнице Исправдома"...

Девушка читает надпись на дощечке:

«ЗДЕС ПОХОРОНЕН ТРАВКИН».

Вот и весь простой путь от жизни к смерти. И совсем не случайно так трогательно плачут классические ивы...

А день.., День наполнен побоями, кражами, пьяной тоской. И эту грязную морду сифилитической проститутки-жизни наши герои подгримировывают дешевыми лубочными красочками:

Ты, может быть, бокал с шипучим подымая,
В кругу веселья радостных друзей
За жизнь прекрасную тосты провозглашая,
Забудь о печали хмурых дней.
Ты, может быть, супругой любимый
И с сыном с гордостью твоей
Пройдя несчастия все мимо,
Забудешь о печали хмурых дней.
А я, тоскуя в заключеньи,
Грустя, кляну судьбу свою,
Неся тревоги и волненья,
Дни хмурые не обойду.
Жить буду думою одною,
Что вновь к заветному приду,
Но все ж с печальною судьбою
Дни хмурые не обойду.

Бокалы с шипучим, супруга, сын — все „с семейного портрета“ провинциальной фотографии.

Но этот налет „романтики“ не спасает от хандры.

Вот она

«Хандра».

Проклятый день, томительный, ненастный,
Все ненавистно в этот день,
Народ противен мне несчастный,
Противна даже леса тень.
Кругом лишь жалкие фальшивые рассказы
О старых бурных временах,
Припоминаются прожитого проказы,
Преступным миром данные в стихах.
Гаерство, хвастовство, ложь в каждой речи,
О подвигах преступных разговор,
Одних потомство славит „сечи“,
Других „духа“ горького простор.
Преступник старый гордо похваляется
Развратом прожитых им дней,
И, жадно слушая, понять старается
ДИТЯ - ПРЕСТУПНИК НАШИХ ДНЕЙ.
Противно слушать, уши режет,
Хотелось крикнуть: „замолчи!“
Не смейся больше. Плач и скрежет
Раздаться должен из груди.
Скорей бы ночь, уйди ты, день проклятый,
Дай сердцу, мысли отдохнуть.
Лишь только ночью, сном об'ятый,
Ты можешь гнет с себя стряхнуть...

Эти строки лучше других передают подлинную и глубинную хандру, которую рождает этот проклятый и темный быт:

— „Противно слушать, уши режет“...

И жутко, что эту хандровую жизнь,
Жадно слушая, понять старался
ДИТЯ—ПРЕСТУПНИК НАШИХ ДНЕЙ.

IV.

Дохлый быт отравляет своим тупым запахом города СССР. Гнезда этого быта — фабрики преступников.

Сейчас этот дохлый быт переживает серьезный кризис.

Крепкая метелка прошлась по «хазам» и «малинкам»—гнезда уничтожены, но люди, зараженные и сотворенные этим бытом, живы и живут среди нас. Я говорю, конечно, не о наших 3-х писателях.

У них:

Прошла любовь, явилась муза
И прояснился темный ум.

Они запечатлели быт, значит, они увидали его, они зарисовали его, значит, они его преодолели. Но они выразители масс.

Из их строчек смотрят на нас те шпанята, которые не имеют слов, чтобы сказать, не заряжены мыслями, чтобы разрядиться сознанием.

Дохлый быт властвует над ними.

Нужно забраться к ним на нары, изучить их жизнь во всей ее многообразности, многоликости, многосложности.

Их игры, их песни, их творчество, их анекдоты, их пословицы—богатейший бытовой материал. И, наконец, их биографии.

В дохлом быте мы прочтем много увлекательных страниц. Увлекательных и поучительных.

Марафет и пьяная любовь, проституция и кражи, издерганная, поруганная жизнь, проклятая жизнь, смрадная жизнь.

В этом дохлом быту — душном, страшном, мне удивительно понятны слова стихотворения:

Пусто, тоскливо,
Все мне постыло,
Я не хочу больше жить...

ИХ ИГРЫ

«Звериные забавы»

Тюрьма создает особый психический строй, своеобразные законы общежития и общественности. Блекнут щеки и сереют, как серые стены, гаснут глаза и светятся, как замусоленный ночник, и мысли замусоленные, тепличные и хилые.

Ах, читатель! Знаете ли вы, что такое серое однообразие до тошноты одинаковых дней?

Знаете-ли вы, что такое небо за решеткой, что такое магические цифры календаря, цифры, которые бегут, бегут и вырастают вновь? Что такое женский смех, что брызнет в вонючем тюремном дворе теплой радостью, счастьем, и смолкнет; одиночество, хмурь, тоска. Где-то далеко-далеко,—его почти не видать,—грезится последний тюремный день и на нем написаны драгоценные буквы: Свобода. Оттого-ли так скулят арестантские песни, оттого-ли так охальны и бесстыдны арестантские игры?

Это какая-то смесь отчаянного смеха, тупой озлобленности и истерии—специфической паскудной тюремной истерии. В какой изотчаявшейся голове родились замыслы этих утонченно-жестоких, скотско-прямолинейных игр? Да и игр-ли? полноте! Разве могут назваться легковесным словом «игра» эти тюремные действа? Оговариваюсь: не все. Прибавляю: но большинство. И те игры, которые задают тон, делают стиль,—те игры оскорбительно-охальны, как матерная ругань в измызганных устах! Впрочем, к чему слова и убежденья? В шкафчике моих наблюдений у меня есть отдел тюремных игр. Прошу вас, читатель, познакомьтесь с этим материалом и... судите сами. Прошу прощения заранее: не только прюдери, но настоящее смущение заставляет нас отбросить те „пикантные“ подробности, которые сплошь да рядом

являются солью игр. Придется дополнять их... воображением.

Вот категория такого сорта игр: „Выборы нового старосты“, «Портной», «Телефон», «Доктор», «Жук», «Пуговица» и пр. и т. д...

«Выборы нового старосты»: в камеру является новичек. „Старики“ начинают нарочито выражать недовольство старостой.

Раздается крик:—Долой старосту! Нового! Нового давайте выбирать! Выборы! Начинают выбирать. В обнаженные руки пониже локтя (руки сомкнуты вместе) вкладывается записка с именем кандидата. Все завязывают себе глаза. Подходят по-очереди и вынимают записку зубами... Доходит очередь до новичка. Он подходит, начинаем выдергивать бумажку .. Хохот, срывают повязку, — и он видит перед своим ртом ту часть тела, о которой не следует дольше распространяться...

Отворяется дверь – и входит гражданин в партикулярном платье.

— А доктор, доктор! — раздается со всех коек. Доктор смотрит на язык, щупает пульс, словом доктор, как доктор. Вот он подходит к новичку:

— Вы новый?

— Да.

— Надо вас осмотреть. Снимите рубашку и подойдите к окну!

Простодушный новичек подходит к окну, снимает рубашку.

— Повернитесь спиной!

... И шайка холодной воды обдает спину наивного новичка...

Есть и другие веселые игры. Например, в „Портного“. Сюжет наивный—прямо юношеская шарада, но исполнение ерное и «оригинальное».

— Давайте в «Портного»!

— Даешь, даешь!

— Вы заказчик будете (это к новичку-то).

А тот.

— Хорошо, хорошо.

— А... (начинается игра)—пожалуйте, пожалуйте! Вам костюмчик? Сейчас смерим. (Мерит). Так-с. Тэк-с. Два аршинчика с четвертью. Сейчас готов. Ложитесь на пол гладить,—будем.

Новичек ложится. На него бухают один, другой, третий, четвертый—целая груда, а у лица появляется та-же «прекрасная» часть человеческого тела, сопровождаемая звуковыми эффектами.

— Пожалуйте, барин,—костюмчик готов. Отгладили!..

А вот „Телефон“.

Садятся в кружок. Олин говорит: «Казань», другие повторяют, нарочно перевирая. Последний в ряду должен повторить город. Но все это для «своих», а для «фрайеров»—штучки занятнее.

Послелний говорит в рукав накинутого на него бушлата. Только он выкрикнет: «Казань»!, как в рукав выливается кружка холодной воды... И снова смех,—какой там смех—хохот, какой там хохот—вой...

А в «Ложки»? Вы хотите, может-быть, сыграть в „Ложки“? — Пожалуйте, пожалуйте к нам под одеяло. Садитесь! Вот здесь, на эту койку, рядом с другими арестантами. Вы, ведь, фрайер, читатель, наивный гость тюрьмы,—ату вас! дьявол вас побери!

Угадайте-ка, кто вас бьет по черепу ложкой? Открывайте после каждого удара одеяло, глядите: кругом звериные оскалы ржущих ртов. Кто? Этот? Этот? —Врешь! Опять под одеяло. Опять удар по черепу.

— Ха-ха-ха! чертовски весело, и как жаль, что у вас так безумно трещит голова! Вы не можете думать, а то-бы вы догадались, что ложкой бьет вас ваш-же сосед под одеялом..

А нет-ли охоты в «Жука»? Ж-ж-жу! Ж-ж-жу! —и звонко по щеке сыпятся удары. К счастью, или

несчастью (кому как!), но я не могу описать здесь других игр, в которых онанизм, больная эротика и похабство смешиваются в причудливый кавардак. Но не довольно-ли? Не займемся ли „Розыгрышем“? О, это тоже развеселая штучка!

Подходят:

— Жаль старика?

Вы спрашиваете:

— Какого?

— А того, что... (дальше нецензурно). Или вот:

— Лепеша и Вудров-то!

— А что? какая Лепеша?

Ответ в том-же стиле. С Вудровым—тоже. Со Степановым—то же. Пройдитесь по тюрьме—и вас познакомят и со Степановым, и пригласят „на открытие“, и предложат записаться в „списки“—и все это заслюнявлено истерическим гоготаньем, плоской похабью, пустотой, внутренней скукой и каким-то бездельем ума. Что создает эти „розыгрыши“, какая разгулявшаяся фантазия издает сюжеты этих игр?

Соловки не тюрьма, Соловки трудовая колония со своеобразным и интересным бытом. В этой колонии свои веселья, свои развлечения. В своих игрищах—поистине, „звериных забавах“ шпана не оригинальна. Большинство игр и забав перешло по наследству от старой тюрьмы. А тюрьма—верный страж традиций и отпечаток этих традиций не стерт ни Великой Революцией, ни новым тюремным распорядком.

Но... карточная игра.

Какой уродливой гримасой представляется нам карточная игра в лагере. К счастью, картежничество—не широкое явление на Соловках. Однако, зарегистрированные Соловецким Следбюро случаи разительны.

Кто посещал развалины домов (развалки) в районах Хитрова, Цветного, Грузин, тот мог наблюдать ожесточенные и сверхазартные карточные игры.

Представители шпаны всех возрастов и мастей неистово упражняются в „стос“ (штос). Проигрывается решительно все. В с е. По настоящему в с е. Последняя рубашка и последние штаны. Откуда этот патологический азарт?

В кокаинно-пьяной среде, среде бездельничающей—картежный азарт имеет благодатную почву.

Желания шпаненка ограничены. Потребности притуплены. Страсть к азарту—великолепный для него суррогат жизненных эмоций. И он предается ему безудержно, со всей силой своей недисциплинированной натуры.

Суровая дисциплина, надзор, здоровая лагерная жизнь отрезвляют многих. Но в шпанской среде есть и непримиримые, которые не реагируют на воздействие и столь сильно проникнуты „бульварно-притонным“ воспитанием, что оно стало их второй натурой.

Соловецкое Следбюро, наблюдая за движением дел, установило, что в картежной игре попадается один и тот же круг заключенных. Эти заключенные маниаки. В Соловецком Следбюро скопился маленький музей самодельных игральных карт. Этот музей, конечно, не удивит знатоков тюремной жизни, но он великолепный показатель патологической целеустремленности шпаны этого типа. Карцер, штрафизолятор для этой шпаны пустой звук. Шпаненок собирает бумажку от порошка из лазарета, делает трафарет, жжет тряпку, мешает золу с мылом и игральная колода готова.

Играть! Играть! Играть!

Хотя-бы несколько минут, а „прометать солдата“.

Пусть за этим следует наказание, игра прельщает и покоряет, как наркоз. И воспитанный в чадных залах пивных, измученный, истощенный кокаином, он играет безудержно, самозабвенно предаваясь игре.

Из толстого вороха специально „картежных“ дел берем наугад папку.

„5/XII с. г. командир 8 роты рапортом Лагерному старосте донес, что того же числа закл. Б. заявил ему о том, что заключенные Хокшев, Калинин, Полуектов, Харитоничев и Оскович обыграли его в карты, выиграв у него: френч, шаровары, подушку, одеяло, 2 пары белья, причем он проиграл в задолжность еще вещи, но отдать их в настоящее время не может".

Френч, шаровары, подушку,—да ведь, это все, что есть у заключенного! А вещи „задолжные"—это, может быть „паек"—„пайки" за несколько дней вперед.

Холод и голод не смущают игроков.

Следовательский допрос выясняет характер этих игрищ. Проигрывали друг другу все, что имели.

„Заключенный Калинин признался в том, что он играл с Богдановым в карты и выиграл у последнего брюки, пальто, 2 простыни и рубашку. Сам же отвечал собственными сапогами".

„На очной ставке Калинина с Богдановым Калинин признался в том, что все вещи, названные Богдановым в первом показании, он выиграл у него и, противореча своему первоначальному показанию, говорит, что он, Богданов, отвечал брюками. Богданов же показал, что играл только с Калининым и, противореча своему первому показанию, показал, что Полуектов не играл и даже не держал маза".

Играли, конечно, все. «Отвечали» брюками, «мазали» сапогами, «покрывали» последней сменой белья. (Дело 42, 1926 г.).

А вот жуткое и жестокое дело, характерное для шпанского „дна". (И шпана имеет „дно").

Дело № 2370 о выяснении причин, побудивших заключенного Доморацкого Николая лишить себя пальца.

Вот о чем говорит «Дело»:

«19 сентября с. г. в камере № 2 верхнего шрафизолятора 4 отделения СЛОН был роздан хлеб. По

установленному порядку хлеб был выдан на всю камеру не разрезанным, так как заключенные сами производят это, для каковой цели передается в камеру нож.

В означенный день по изолятору дежурил надзиратель команды надзора закл. Пугачев Борис, который явился ко мне, как к старшине команды надзора 4 отделения, и доложил, что в вышеупомянутой камере заключенный Домарацкий Николай отрубил себе ножем палец—мизиниц левой руки и отправлен уже в околодок для оказания медицинской помощи.

Я отправился в околодок, где лекпом закл. Топалов сделал повязку потерпевшему. Палец был отравлен посредине третьей фаланги, почти близ ладони.

Следствие выяснило обстоятельства дела.

Произведенным расследованием было установлено, что среди заключенных штрафизолятора процветала игра в карты, а когда благодаря энергичным мерам, принятым администрацией, таковую за неимением карт производить стало нельзя, то стали играть в шарики, сделанные из хлеба, причем ставкой служили выдаваемые продукты питания, белье и вещи.

19 сентября заключенный Домарацкий проиграл закл. Головаш Ивану: две спичечных коробки, табаку—махорки, пайку хлеба, порцию каши и порцию масла и закл. Головаш стал требовать уплаты проигрыша, угрожая в случае неплатежа, избиением. Закл. Домарацкий, не имея того, что должен был уплатить, а потому желая избежать избиения, отрубил себе палец.

Об обстоятельствах, которые сопровождали это самоpанение, рассказывает свидетель Васильченко:

«И вот в это время закл. Домарацкий схватил нож и отрубил им себе палец. Говорили даже, что

палец Домарацкий отрубил себе не совсем, а потом оторвал его и бросил на стол».

Мы выбрали только два дела. Но все дела очень похожи друг на друга. Перечень их не убеждает, а раздражает.

Паек, последние штаны и... палец. Играть, играть и играть!

Концлагерь этих людей вразумляет плохо. Слишком сильна в них прошлая городская притонная жизнь. Эти игры и игрища—отрыжка их прежней жизни. У одних отрыжка слабее, у других сильнее. Но везде один отпечаток.

Везде один аромат.

Аромат и отпечаток бездельной и безцельной жизни.

«Одержимые», к счастью, представляют меньшинство в шпанской среде. Но их одержимость сгусток общих шпанских настроений. То что в „одержимых" переливается через край, заложено в той или иной дозе в каждом представителе шпаны.

ИХ НРАВЫ.

I.

Их нравы, как их песни.

Как их литература.

Они жестоки. Они зловещи.

Шпана управляется железными законами, созданными их тяжелой и отверженной жизнью.

Жизнью касты. Замкнутой в себе и ограждающейся от живой жизни китайской стеной «профессиональной этики.

Тяжела нормальная трудовая жизнь для шпаненка.

Ибо он весь во власти антиобщественной морали, морали в своем роде аристократической:

— Что позволено шпаненку, то запрещено фрайеру.

Шпаненок—хранитель прав. Фрайер вне закона.

Шпана враг дисциплины.

Как и во всем она неврастенична и в работе.

Ее недисциплинированность взрощена бульварным фланерством, полной безответственностью профессионального бездельника.

Шпана способна увлечься работой на час, два, максимум на неделю. Она быстро охлаждается и тогда преисполнена отвращения к работе. Это свойство легко проследить на добровольной работе в культпросвете. Репетиции, спектакли, литературная-ли работа, все равно—недисциплинированность пожирает все желания, все достижения.

Грязный исписанный клочек бумаги со стихотворением не носит и следов вдумчивого труда. Вышло—хорошо, нет—черт с ним, „другое напишем“.

И так во всем.

Работа, работа требующая выдержки, терпения и ответственности—это страшный призрак для шпаненка. Конечно, не для всех представителей шпаны. Мы наблюдаем много и таких, которые быстро привыкают к трудовой жизни, (часто возвращаясь к ней), и в этой жизни у них ломается шпанский психический строй. Но много, очень много и таких которые не в силах направить свои навыки в другое русло.

Конечно, это дается огромным трудом. Это стоит немалых психических и физических усилий.

Наблюдая за процессом вовлечения представителей шпаны в работу, администрация останавливается на интересных моментах, характеризующих общественный облик наиболее закостеневшей части шпаны.

Мы писали: недисциплинированность. Но недисциплинированность шпаны актуальна только на общественном поприще. В своей кастовой жизни шпана

управляется железными законами права, весьма характерными для этого «обычного права».

Нач. Адмчасти Сол. лагерей т. Васьков при посещении карцера и штрафизолятора наблюдал такие картины:

Сидит избитый в синяках и рубцах заключенный.

— Кто вас избил?

— Никто.

— А синяки откуда?

— Упал, споткнулся.

На первый взгляд картинка ни о чем не говорящая: товарищеская, мол, этика и т. д. Но в этом упорстве, в этом нежелании „ссучиться"—отпечаток кастовой дисциплины. Эта кастовая дисциплина—двухсторонняя медаль. На одной стороне аршинными, кричащими буквами выведено: Товарищество.

На другой... на другой—мрачный звериный быт подполья.

Вот его лик.

Вот его цветы.

Дело № 185. О самоубийстве заключенного Мызникова Тихона Федоровича.

Что мы читаем в деле № 185?

„Произведенным расследованием было установлено, что в 13 роте уже неоднократно имели место кражи, преимущественно продуктов питания, и 23 июня утром была обнаружена кража сахара у заключенного Рудницкого. На почве изобличения заключенного Мызникова в этой краже у него произошла драка с заключенным Дзержак и при производстве комроты дознания по поводу этой драки заключенный Мызников, доказывая, что он невиновен и что кражу совершил другой, выдал заключенного Понятовского. Принимая во внимание, что за выдачу „своего" в уголовной среде принято подвергать виновных неоднократному избиению и вечной травле, заключенный Мызников, опасаясь этого, покончил жизнь самоубийством."

Дело № 21—не менее яркое дело. „О самоубийстве через повешение заключенного Кривощекова В. А." Предлагаю и его вниманию читателя:

„По обстоятельствам дела и показаниям свидетелей, данный случай самоубийства заключенного Кривощекова может являться ничем иным, как только стимулом сохранения и выполнения тех своеобразных законов „уголовной этики", строго соблюдаемых даже в местах заключения уголовным элементом, их нарушение последними никак нельзя связать с психологией матерых уголовников. Других-же причин, вынудивших пойти на самоубийство, быть не могло. Предшествующими этому обстоятельству причинами, как это видно из дела, могли служить—поведение Кривощекова в лагере, зарекомендовавшего себя страшным игроком в карты и сделавшегося, в силу этого, в одно время крупным должником, в понятии которого уплата долга не расходилась с делом. Таким образом, использовав, очевидно, все возможности к изысканию средств для уплаты, но с неблаговидными, как видно, результатами и став перед необходимостью сохранения традиционных законов „уголовной этики", вызывающих в противных случаях акт мести по отношению к человеку, не выполнившему обязательства,—решил покончить жизнь самоубийством".

Мы привели два дела с различными датами—23 и 25 г.г.

Оба дела—показательны. Оба свидетельствуют о наличии строжайшей шпанской этики. Мы говорим: эта этика носит исключительно кастовый характер, она скрепляет устои сообщничества, идущего в разрез с общественной жизнью государства. Эта „этика"—китайская стена, отделяющая шпану от производящего общества. Ее строгость и прямолинейность—это дисциплина осажденных заговорщиков.

Так ли крепка этика „шпаны" на поприще здо-

ровой общественной жизни, как крепка она в защите профессиональных своих интересов?

Об этом свидетельствует весьма красноречиво многофунтовая папка следственных дел с кратким, но выразительным заглавием: „Отказ от работы“.

Куда скрывается твердость, сила и, порой, самопожертвование? Все эти качества почиют за стеной касты, а для здоровой общественной жизни остаются хныканье, кисляйство, безответственность и жалкое малодушие. В следбюро на вопрос:

— Почему отказался от работ?

Слышится стереотипный ответ:

— Тяжело. Болен. Не могу работать.

Нужды нет, что врачебная комиссия неуклонно отвергает всякие болезни. Он упорен:

— Болен.

Работа его пугает. Он ее ненавидит. Ненавистью профессионального бездельника. Работа для него, пусть даже и неутомительная и нетяжелая,—отвратительна.

Из толстой папки дел мы вынимаем наиболее интересные и яркие.

Дело № 31 (1923 г.). «23 и 24 декабря заключ. Свежевский и Павинцовский категорически отказались от работ на лесозаготовках, мотивируя свой отказ болезненным состоянием здоровья. Однако, произведенным медицинским осмотром они оба признаны здоровыми и годными для работ. Одновременно заключ. Свежевский подговорил отказаться от работы заключ. Лошева, Снегирева и Павлова-Столярова».

„Когда заключ. Лошев, Снегерев и Павлов согласились приступить к работе, то Свежевский стал их уговаривать, а потом и угрожать, требуя, чтобы они не приступали к работе из солидарности к нему.

Лошев, прежде чем (снова) согласиться работать, угрожал Снегиреву вместе со Свежевским побоями и местью в будущем, если он приступит к работе“.

Приведу выдержки из дела 1926 г. № 129.

Оно подчеркивает эту безысходно-малодушную ненависть к труду, эту патологически-паническую и весьма специфическую боязнь работы.

Отказаться от работы всеми доступными средствами. Всеми. Вот заключенный бьет себя пять раз по ноге, чтобы отрубить палец, пять промахов — на шестой удача. Это рассказывали очевидцы.

А дело № 129 сообщает:

„Заключенные Хмелевский С., Кукарев А., Тузов, Алешин Б., будучи направлены в качестве лесорубов на лесозаготовительные работы, в районе центральной командировки Б. Лесной в средине января 1926 г., желая тем или иным способом уклониться от возложенных на них лесозаготовительных работ, в период времени от 10 января по 16 января с. г. причинили посредством умышленного ранения повреждение себе пальцев на руках и на ногах.“

Хмелевский весьма просто и откровенно говорит о своих планах.

«Думая найти способ отказаться от работы, которая была для меня тяжела, я ранил себе пилой левую руку и пошел заявить десятнику Молоховскому, что я нечаянно порубил себе руку топором».

Отнюдь не о тяжести непосильного труда говорят многочисленные следственные материалы, а об особенных антиобщественных навыках известной среды нашего лагеря. Конечно, лесозаготовки — это не Цветной бульвар. Это тяжкий труд, обрызганный благодатным потом искупления и для того, чтоб втянуться в этот труд, необходимо самопожертвование.

Но крепкая, «героическая» в исполнении своих кастовых законов, шпана на арене общественного служения не выдерживает натиска жизни.

Заключение

Прочитанные страницы—материалы и впечатления. Автор не желал выйти из этого плана. Он хотел на основании некоторых об.ективных данных сделать психологический набросок шпаны. В распоряжении автора были: следственные материалы УСЛОН, рисующие быт шпаны в Соловках, литературные произведения представителей шпаны, материковые и соловецкие впечатления самого автора. Мы хотели дать некоторое представление о той части уголовного мира, который называется крылатым словом «шпана». Что же такое шпана? Содержание этой книги—многословный ответ на этот вопрос. Не случайно создано слово шпана. Оно определяет полууголовную, полубродяжную массу, которая столько же нуждается в карательно-воспитательном воздействии, сколько и в серьезных услугах врача. Старый союзник преступления — алкоголь сменился новым более опасным, более угрожающим и имя этому союзнику—кокаин.

В шпанском подполье душно, там разложение.

Цветы асфальта—это декаденты подлинные, настоящие, а не спрыгнувшие со страниц Гюисманса и Жан-Лорена. Аморализм шпаны—аморализм бунтующего мещанина. В атмосфере разложения и безкрылого упадочничества нет возможностей для полнокровной творческой жизни.

В творчестве они импотентны.

Ибо творчество мыслимо только в ритме труда.

Наркотики, опиум и кокаин, водка и анаша — источники их вдохновения.

Бульварная романтика—их пафос.

Их быт—дохлый быт.

Соловецкие лагеря для них—жесткая школа.

Много шпанских слез мочило койки соловецких корпусов, но в этой очистительно-трудовой атмосфере обновлялась не одна шпанская душа.

Представленный выше мир — мир подполья. Но было бы вопиющей несправедливостью полагать, что люди этого подполья — обреченные люди. Нет, из подполья есть выход в здоровую жизнь. Шпане не все пути заказаны.

Если они желают остаться в «своей» касте, желают служить «своей» культуре, их ждет смерть моральная и физическая.

Но если они пожелают выйдти из подполья на свежий воздух здоровой общественности—милости просим.

Но Управление лагерей расчитывает не только на доброе намерение шпаны.

Перед Управлением стоит, образно выражаясь, такое теорематическое положение.

Дано: шпана, свойства которой описаны выше.

Требуется доказать: что представители шпаны могут стать здоровыми гражданами трудового государства.

Создание и налаживание просветительного аппарата соответствующего целям и заданиям исправительной политики СССР—весьма серьезная и кропотливая работа.

Надежный принудительный аппарат, рационально организованный, трудовая дисциплина, которую проходят обитатели лагерей, внешние условия—все это втягивает заключенных в трудовую нормальную жизнь.

Образуются новые навыки.

Оздоровляется психический строй.

Тяжелая (по своей принудительности) работа делается привычной. К прежним навыкам возвращаться некогда. Условия работы и отдыха таковы, что обитателю лагеря нет возможности возвращаться к старым привычкам. Все свободное время посвящено культурной работе, которая волей неволей втягивает заключенных в новую для них культурную обстановку. В этой новой культурной обстановке вырабатываются здоровые культурные навыки, открываются новые культурные возможности, пьянство, кокаинизация, картеж, бездельничество предстают в совершенно другом виде. Они изживаются. Новые культурные желания формуют новые культурные запросы.

Не входит в план настоящей брошюры ознакомление читателя со сложной работой воспитательно-просветительного аппарата УСЛОН.

Об этом следует говорить в специальном труде.

Вся политика просветительной деятельности в Соловецких концлагерях ведется под руководством Полит-просветительной Комиссии при коллективе ВКП (б) Управления лагерей.

Ведется театральная, клубная, лекционная и школьная работа. К самодеятельности призваны сами заключенные.

Представители шпаны—помимо общей просветительной работы, ведут и специальные работы в области литературы, театра, журналистики, музыки и т. д. Этими же представителями организовано об-во «самоисправляющихся», для характеристики деятельности которого мы приводим полностью его устав.

УСТАВ „ОБ-ВА САМОИСПРАВЛЯЮШИХСЯ“

заключенных Соловецких лагерей,

1. «Об-во самоисправляющихся» является организацией преимущественно трудового состава

заключенных лагеря и только тех из них, которые, осознав свой проступок перед обществом и государством, стремятся трудом, поведением и желанием быть в будущем полезными для окружающего общества, загладить свой проступок перед ним и перейти к новой трудовой жизни.

2. Признавая, что только деклассированность мешает трудовой производственной жизни, члены „О.С.“ главным орудием своего исправления считают прежде всего сознательное участие всех своих членов в постоянном труде лагеря.

3. Для того, чтобы наглядность пользы труда и его оздоравливающего влияния более резко проявлялись,—из членов «О.С.» организуется трудовая артель, ставящая своей целью участием в организованном коллективным труде, во первых, приносить реальную пользу лагерю, а во вторых быть примером для остальных заключенных.

4. Признавая, что жизнь в современном трудовом обществе требует от членов этого общества прежде всего изучения структуры и законов человеческого общества;—„О.С.“, наряду с систематической общеобразовательной работой, ведет занятие со своими членами по изучению специальных политических и экономических наук.

5. Для того, чтобы члены «О.С.» привыкли к практическому участию в общественной жизни, необходимо их обязательное участие во всех культурно-просветительных общественных организациях лагеря (коллективы, пресса, клуб и проч.).

6. Каждый член „ОС“ является передовым заключенным. Он должен быть во всех отношениях примером для окружающих.

7. Во главе „ОС“ стоит выборный Президиум (из 5 ч.) 4 члена „ОС“ и 1 председатель,

представитель воспитательно - просветительной части.

8. Президиум руководит повседневной работой и проводит все постановления общего собрания членов „ОС“.

9. Прием и увольнение членов «ОС» производятся президиумом и утверждаются общим собранием и затем передаются на окончательное утверждение Управлению СЛОН.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для выяснения личности вновь поступающего в «ОС» устанавливается испытательный срок (неопределенный), в течении какового вступивший считается кандидатом «ОС».

10. Для создания практической возможности члену „ОС“, по выходе из лагеря, приобщиться к производственной жизни, необходима связь с материковыми «ОС» и комиссиями помощи освобождающимся заключенным, каковые могли-бы помогать материально и в смысле подыскания работ освобождающимся членам «ОС».

11. Ввиду того, что член „ОС“—сознательный заключенный, то следовательно и требования к нему представляются гораздо большие, чем к рядовым заключенным, как со стороны воспитательных органов, так и со стороны администрации.

Однако, было бы непростительным оптимизмом полагать, что с легкостью перерабатываются чернильные строки устава в живую и подвижную жизнь.

Далеко не все представители шпаны излечиваются от шпанских недугов. Как нигде в мире, так и на Соловках не совершается чудес. Разумеется, многие из шпанской среды и по выходе из концлагеря останутся такими же, какими были прежде. Очень многие настолько прониклись этим кастовым духом, что никакие методы не в силах помочь, но есть на Соловках и положительные, весьма разительные, примеры, когда представители шпаны становились на новые пути.

У шпаненка два имени: одно паспортное для домкомов и комиссариата, другое кличка—для друзей и „дела“. Они двулики. В них борются два начала и мы наблюдаем, как в этих людях боролись два существа. Имя и кличка. Шпана—молодежь. И как во всем молодом, в ней заложено много возможностей. Здоровых возможностей.

Мы видели, как здоровое начало побеждало кастовый дух.

Не нам судить, почему не все представители шпаны оставляют в Соловках свою «кличку». Виновато ли в этом Управление Соловецкими лагерями или есть какие либо более громоздкие и сложные причины, судить здесь не место.

Но ради тех, которые здесь в Соловках порывали с прошлым и приобщались новой жизни, стоит, чтоб курсировал пароход от суровой Кеми до зеленокудрого Соловецкого острова...

Об'яснение жаргонных слов, встречающихся в тексте.

Гитара	Ломик
Перо	нож
Юр	Хитров рынок (в Москве)
Развалка	развалины дома, где ютится шпана
Хаза	квартира
Мильтон	милиционер
Урик, урка, уркан	воришка
Кичман	тюрьма
Калечить	обирать
Малина	тайная квартира
Марафет	кокаин
Симулятор	занюхавшийся кокаином
Втыкать от дармового, загибаться от вольного	понюхать кокаин за чужой счет
Ксива	тайное письмо
Бан	вокзал
Фрайер	об'ект воровства
„Свои"	воры
Легавые	сыщик, агент милиции и т. п.
Городушник	магазинный вор
Ширмач	карманщик
Хипесник	вор, работающий с проституткой
Зарядить	понюхать кокаину
Деловой, деляга	вор
Стучать	проституировать
Стучать	доносить
Шухер	подозрение, суматоха
Шухернуться	заподозреть
Ссученый	вор, изменивший воровской этике
Ссучиться	изменить
Кемать	спать
Блат	протекция
Жиган	воровской герой
Купить	украсть
Канай	иди
Ботать	зря болтать
Шпалер, пушка	револьвер

Часть публицистических материалов настоящей книги ранее печаталась в журнале „Соловецкие острова“ и газете „Новые Соловки“.

Бюро Печати.

11

Цена 50 коп.

21